

Г. О. Винокур

Собрание трудов

ВВЕДЕНИЕ
В ИЗУЧЕНИЕ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ
НАУК

Составление и сопроводительные статьи С. И. Гиндина

Москва
ЛАБИРИНТ
2 0 0 0

ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

(Выпуск первый. Задачи филологии)

ОТ ПУБЛИКАТОРОВ

«Введение в изучение филологических наук» подготовлено к печати самим автором — Григорием Осиповичем Винокуром в последний год его жизни. В 1943 — 1944 и в 1945 — 46 учебных годах Г. О. Винокур осуществил свою давнюю мечту: он прочитал в МГУ им. М. В. Ломоносова и МГПИ им. В. П. Потемкина курс лекций для студентов-филологов первого года обучения под названием «Введение в изучение филологических наук». В курсе было четыре раздела: 1) что нужно понимать под филологией; 2) объем и разделы филологии; принципы выделения ее отделов; 3) методы филологии; 4) образцы филологического изучения текстов. Краткое изложение первых трех разделов представляет данная публикация.

Четвертый раздел (то есть предполагаемый второй выпуск, так и оставшийся не написанным) был посвящен филологическому чтению конкретных русских текстов — от летописи до литературных произведений XIX в. Центральное место здесь занимало чтение Пушкина, и это было неслучайно. Г. О. Винокур считал, что «без филологического изучения Пушкина, предполагающего в первую очередь раскрытие истории пушкинских текстов в связи с анализом стиля, метрики и языка, невозможен дальнейший прогресс в познании Пушкина как великого русского поэта и лучшего представителя русского национального самосознания» (ЦГАЛИ, фонд Г. О. Винокура,

№ 2164, оп. 1, ед. хр. 65). Будучи автором исследований и изданий «Евгения Онегина», «Бориса Годунова», «Бахчисарайского фонтана», «Цыганов» и ряда других произведений великого поэта, Г. О. Винокур использовал в лекциях по филологии убедительные примеры из своей практики пушкиниста-текстолога. Он показывал, как ему удалось установить, кто был цензором «Бориса Годунова», что было написано на вырванном листе рукописи «Бахчисарайского фонтана», кто была няня Василиса, упоминаемая поэтом в письме к Вяземскому, когда было написано стихотворение «К чему холодные сомнения?», что следует буквально понимать под выражением «берега Салгира» и многое, многое другое. Особое место в этих чтениях занимало комментирование десятой главы «Евгения Онегина».

«Введение в изучение филологических наук» единственно в своем роде не только как учебное пособие. Оно имеет самостоятельное научное значение, так как до сих пор филология понимается неоднозначно, хотя сам этот термин известен с глубокой древности и ученые всех времен и народов неустанно им пользуются.

Филология *sui generis* привлекала внимание Г. О. Винокура с молодых лет. Более того, проблемы филологии всегда находились в центре всех областей гуманитарных знаний, к которым обращался ученый в течение своей жизни. Этот интерес непосредственно связан с отношением Г. О. Винокура к науке вообще, получившим характерное отражение в следующих его высказываниях.

Первое: «...Различение проблем и расчленение их предметных оснований остается для меня главным и основным условием всякого научного труда» («Биография и культура». М.: ГАХН, 1927, с. 85).

Второе: «Наука строится не рассуждениями о ней, а практической работой над материалом. Но эта практическая работа в очень сильной степени облегчается, когда исследователь ясно представляет себе, какой именно материал и для какой цели он изучает» (ст. «Об изучении языка литературных произведений». В кн.: Избранные работы по русскому языку. М.: Учпедгиз, 1959, с. 253).

Третье (на защите докторской диссертации по текстологии и языку Пушкина): «Несмотря на двойственный по внешности характер предлагаемого труда, содержащего в себе, с одной стороны, историко-литературные работы, а с другой — лингвистические и стилистические, сам я смотрю на себя, как на автора этого труда, не как на историка литературы и не как на лингвиста, а прежде всего как на филолога в специфическом значении этого термина. Обе эти науки — сестры, произведения одинаково ориентированного сознания, которое ставит себе задачей истолкование текста. Вот об этих-то общих, собственно филологических задачах обеих наук, служению которым я посвящаю свои силы, мне и хочется напомнить предлагаемым трудом» (ЦГАЛИ, фонд Г. О. Винокура, № 2164, оп. 1, ед. хр. 64).

С проблемами филологии связаны первые книги Г. О. Винокура — «Биография и культура» (М., ГАХН, 1927), «Критика текста» (М.: ГАХН, 1927, первоначальное название «Русская филология и русские поэты»), глава «Культура чтения» в кн. «Культура языка» (М.: Изд-во «Работник просвещения», 1925), его доклад в Пражском лингвистическом кружке «Лингвистика и филология» (1929), его многочисленные текстологические работы по Пушкину и, наконец, публикуемый очерк «Введение в изучение филологических наук», в котором сформулированы основные положения филологии как метода, как искусства чтения, как показателя национальной культуры.

Т. Г. Винокур, Р. М. Цейтлин

§ 1. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

На вопрос о том, какие именно науки называются филологическими, нельзя найти сразу готового ответа по двум причинам. Во-первых, состав этого цикла наук определяется в разных случаях очень различно. Во-вторых, не вполне ясно и то, что, собственно, в разных случаях имеется в виду самым выражением «филологические науки», то есть каким условиям должна удовлетворять каждая данная наука для того, чтобы ее можно было объединять вместе с другими в составе особого цикла филологических наук.

Относительно состава филологических наук для начала полезно заметить, что вообще он понимается то более узко, то более широко. В центре более узкого понимания состава филологических наук стоит понятие слова как продукта человеческой культуры. В этом случае филологическими науками называют те науки, которые исследуют слово в тех или иных отношениях, преимущественно же как явление и орган литературы в широком смысле этого понятия. Сюда входят частично или целиком языковедение, стилистика, поэтика, риторика, стиховедение, текстология и т. д.

При более широком взгляде на дело речь идет уже не только о слове, но вообще о всяком выражении духовной деятельности человека, и тогда пределы филологического цикла наук раздвигаются настолько, что включают в себя всю обширную область наук о человеке и обществе, то есть не только историю языка и литературы во всем объеме их проблем, но также историю наук и философии, историю искусств, верований, быта, хозяйства, права, государства и т. д.

Однако бесспорно, что прежде всего должен быть установлен самый принцип, на основании которого отдельные науки включаются или не включаются в число филологических наук. Это заставляет спросить, чем, собственно, объединяются различные науки филологического цикла при любом понимании его пределов, что именно побуждает нас смотреть на соответ-

ствующие науки как науки одного и того же круга? Для такого вопроса тем больше оснований, что внутренняя связь между отдельными науками, относимыми к числу филологических, как это очевидно для всякого, с течением времени становится все более слабой. Она стала совсем слабой даже между науками о языке и литературе, то есть науками, которые издавна считались самыми близкими родичами в области человеческого знания. С каждым новым поколением все меньше становится лиц, которые одновременно занимались бы вопросами языка и литературы, все меньшее число лингвистов обнаруживает живой интерес к проблемам литературоведения, все большее число литературоведов утрачивает вкус к фактам языка и умение обращаться с ними. Разумеется, в значительной степени это разобщение между родственными науками есть прямое следствие практической дифференциации наук и возрастающей специализации, этого необходимого и неизбежного условия всякого научного прогресса. Но от этого все же не становится менее необходимым точный ответ на вопрос о том, насколько реальны и существенны те связи, в силу которых мы выделяем в особый, замкнутый цикл так называемых филологических наук науки заведомо различного содержания.

Ответить на этот вопрос, уяснить себе, действительно ли науки филологического цикла представляют собой нечто единое и связаны какой-либо специфической общностью, или же это единство только кажущееся, остающееся в качестве пережитка тех времен, когда знание носило нерасчлененный характер энциклопедизма, естественно, можно только после того, как будет по возможности точно выяснено, какой смысл мы вкладываем в самое понятие филологии. Это понятие толкуется по-разному.

§ 2. ФИЛОЛОГИЯ КАК ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА

При известном взгляде на дело филология может толковаться как деятельность, имеющая целью изучение языка.

Для этого можно указать известные основания даже и в этимологии самого слова *φιλολογία*, понимаемого как любовь к речи. Правда, древние греки, по-видимому, толковали это выражение скорее как любовь к беседе, порою даже как словоохотливость¹ или, при другом значении слова *λόγος*, как любовь к знанию вообще, и далее — образованность, преимущественно литературную, книжную. Но дело не в этимологии, а в реальном понятии, которое обозначается данным словом. Если филология есть действительно изучение языка, то возникает вопрос об ее отношении к науке, именуемой лингвистикой (или языковедением, языкознанием, просто — наукой о языке). Здесь возможен ответ двоякого рода: 1) филология есть совершенно то же самое, что и лингвистика; 2) филология, как и лингвистика, изучает язык, но с особой точки зрения.

В первом случае дело решается совсем просто, и вопрос сводится лишь к тому, есть ли надобность в этом лишнем обозначении для науки, уже и без того имеющей целых четыре названия. Надо указать, что сами языковеды никогда не называют свою науку филологией, это терминология преимущественно дилетантская. Но, как увидим, она имеет свои корни в определенной традиции, и именно стремление отгородиться от этой традиции и размежевать соответствующие понятия и сказывается в нередко встречающемся утверждении, что наряду с собственно лингвистическим, существует также особое

¹ Например, в «Законах» Платона афинянин называет себя *φιλόλογος* в отличие от спартаица, которого он называет *βραχόλογος*, то есть 'малоречивый, говорящий кратко'. (Здесь и далее авторские примечания обозначены цифрами, а знаки * отсылают к комментарию составителя в конце книги — ред.)

филологическое изучение языка. В чем же отличие одного от другого?

Лингвистика есть изучение языка как такового, как некоторого специфического, ни с чем иным не сливающегося явления действительности, и ставит себе целью раскрыть закономерности, которые осуществляются в жизни различных языков и далее — языка вообще. В этом смысле язык может быть обозначен как единственная и конечная цель лингвистики. Но в практической общественной жизни язык есть не самоцель, а средство. Поэтому наука вправе, да и должна спросить себя также, каким образом язык обслуживает те области жизни, для которых он служит орудием. Одна из наиболее важных областей культуры, для которых язык служит орудием, есть письменность, литература в широком смысле слова. Таким образом, возникает вопрос: что такое язык как орудие письменности? Исследование именно этого и сходных с ним вопросов и называют иногда филологическим изучением языка в отличие от лингвистического, весь интерес которого сосредоточен на языке самом по себе. Так, например, одно дело — история форм имени прилагательного в русском языке вообще, другое дело — употребление тех же форм только в одной какой-нибудь специфической области речи, например — речи образной или научной или в произведениях какого-нибудь отдельного поэта и т. д.

Однако не трудно видеть, что тут нет еще двух разных наук, и что филологию в этом смысле нельзя противопоставлять лингвистике как в точном смысле термина другую науку, потому что объект изучения в обоих случаях остается тот же — язык. Разница только в том, что в одном случае язык изучается в своих собственных рамках, так сказать «анатомически», а в другом — скорее «физиологически», «функционально», как нечто применяемое в интересах какой-либо иной области культуры, преимущественно — письменности. Вот эта-то связь между языком и теми областями культуры, в которых, как их орган, язык находит себе применение, и подчеркивается главным образом тем пониманием филологии, о котором идет сейчас речь. Запомним для дальнейшего, что здесь, таким образом, нет речи об особой науке «филологии», а имеется лишь своеобразное напоминание о том, что свою фактическую жизнь

язык получает лишь как орудие, орган тех или иных областей культуры.

Таково одно из возможных толкований понятия филологии. Далее увидим, что оно имеет возможность опереться на известную историческую традицию, при том традицию не только научной работы, но также и словоупотребления (см. § 5, 13).

§ 3. ФИЛОЛОГИЯ КАК ОБРАБОТКА ТЕКСТА

На другую почву переносится вопрос о филологии тогда, когда под ней разумеют не отдельную науку, и не особое направление в какой-нибудь отдельной науке, а своеобразную деятельность, которой необходимо предваряется всякое исследование, опирающееся на данные письменных памятников.

В этом случае дело заключается в следующем. Все науки, известные человечеству, могут различаться в зависимости от того, имеют ли они возможность судить о своем предмете непосредственно, воспринимая его органами внешних чувств, или же только на основании «авторитета», как выражались когда-то, то есть на основании тех или иных свидетельств, знаков, уже не чувственно постигаемых, а требующих известного толкования, уразумения. К первым относятся науки о природе, ко вторым — науки об обществе. В числе тех свидетельств, посредством которых доходят до своего предмета науки об обществе, особенно значительное место принадлежит памятникам письменности. К ним в поисках ответа на свои вопросы прибегают историки (в общем значении этого термина), литературоведы, лингвисты, искусствоведы, этнографы, экономисты, те, кто занимается историей науки, историей права, историей религий и т. д., словом все, кто так или иначе соприкасается с прошлым или вообще с тем, что не доступно непосредственному чувственному восприятию.

Однако для того, чтобы памятник письменности мог действительно служить источником исторической науки или како-

го-нибудь ее частного отдела, его первоначально нужно подвергнуть известной обработке. Его нужно прочесть, перевести, датировать, освободить от разнообразных возможных в нем наслоений в виде описок или вставок, восстановить в нем то, что могло быть опущено или искажено при переписке, может быть — неоднократно, разобраться в содержании и характере изложения, объяснить отдельные непонятные слова или выражения, раскрыть значение собственных имен и названий, в нем встречающихся, и т. д. Такая обработка памятника письменности, обычно принимающая форму научного издания его, снабженного всеми необходимыми данными для собственно научного его использования, и составляет содержание филологической работы в данном толковании понятия филологии.

Этого рода работа над текстом, ставящая себе задачей сделать его пригодным в качестве источника научного исследования, во многих случаях достигает большой сложности и требует самых разносторонних сведений. Легко сообразить, что сложность этой работы возрастает по мере большей удаленности памятника от нашего времени и нашей культуры. Обрабатываемый текст может быть написан на малодоступном языке или очень неразборчив по почерку, или вообще отличается дурной сохранностью, так что известную долю текста приходится восстанавливать по другим источникам или по догадке. Текст может отличаться, далее, такой сложностью или недоступностью содержания, что даже хорошее знание языка и умение разбираться в самых трудных системах письма и стилях почерка может оказаться недостаточным для того, чтобы можно было прочесть текст и отдать себе отчет в его смысле. Определение времени и места написания памятника в ряде случаев требует умения комбинировать самые разнообразные данные, относящиеся к качеству писчего материала, к характеру орудий письма, к стилю почерка, заставок, миниатюр, к системе летосчисления, к географической номенклатуре и топонимии, к данным истории языка и его диалектов и т. д. Но какой бы сложностью ни отличалась вся эта работа, какие бы широкие знания и разносторонние дарования ею ни предполагались, вся она, с данной точки зрения, представляется работой вспомогательной, предварительной, черновой, имею-

шей одну цель: превратить данный письменный памятник в препарированный источник научного исследования.

Ясно, что филология в этом смысле не может быть названа ни отдельной наукой, ни совокупностью или системой каких-нибудь наук. Она есть не что иное, как применение сведений, заимствуемых из различных специальных отраслей знания, к конкретной практической задаче, состоящей в необходимости приготовить для научной работы данный памятник, «дать его в руки» ученому читателю, исследователю. Это — не наука, а своеобразный «рабочий прием», как иногда говорят по этому поводу, особого рода умение, мастерство, ремесло (в хорошем смысле этого слова). Как увидим позднее, иногда это умение толкуется прямо как своего рода искусство. Что же касается наук, к помощи которых приходится в подобных случаях обращаться занятым этой филологической работой, то эти науки наперед просто не определимы. Здесь все зависит от характера обрабатываемого документа — от его содержания, от языка, на котором он написан, от отразившейся в нем системы письма, от материала, на котором он написан, от того, есть в нем какие-нибудь элементы художественной графики или живописи или нет, и многого другого. Если такие элементы художественности в документе есть — необходимы данные истории искусств, если это пергамент — нужно воспользоваться данными по истории и технике выделки пергаментов, если это трактат по физике — надо обращаться за сведениями к истории физических знаний и т. д. Никакого своего материала у «филолога» в этом смысле слова нет, он умеет лишь находить и искусно объединять разнообразные данные и выводы, накопленные специальными науками, для того чтобы должным образом обработать свой текст и представить его ученому читателю во всеоружии ученого аппарата.

Это толкование понятия филологии пользуется широким признанием и имеет несомненную опору в реальной действительности. В духе этого толкования говорят нередко об отдельных представителях различных наук как об «опытных», «искушенных филологах», как о лицах, владеющих «хорошей филологической школой», имея в виду их умение хорошо разбираться в текстах сложного вида и содержания, их хорошие познания в языках и разнообразных системах письма, их об-

ширную эрудицию архивного или энциклопедически-справочного типа и т. д. Но есть один важный пункт в изложенном воззрении, который возбуждает сомнения принципиального содержания. Это — понимание филологической работы как момента хотя и необходимого, но все же — только внешнего по отношению к собственно научному исследованию, момента подсобного, предуготовительного в общем процессе научного труда, а потому принципиально отделимого от научного анализа и исследования в строгом смысле этих понятий.

Именно эту отделимость филологической работы над текстом от подлинно научного анализа и исследования и трудно признать реальной со строго логической точки зрения. Совершенно ошибочно думать, будто можно удовлетворительно обработать текст по правилам филологического мастерства и издать его в свет с надлежащими примечаниями, указателями, критическим аппаратом и словарем — это обычно и считается задачей филолога, — не изучив предварительно обрабатываемый текст со стороны тех данных, которые заключены в самом его содержании и которые служат предметом соответствующих, заинтересованных в этом памятнике, специальных наук. Думать так, значило бы стоять на позиции крайнего и совершенно беспочвенного формализма. Достаточно одного элементарного примера, чтобы убедиться в полной неправильности такой точки зрения. Между комментаторами «Слова о полку Игореве» существует разногласие по поводу того, как следует понимать в тексте этого памятника слово *Троянь*, например в выражениях *рница въ тропу Трояню, на седьмояхъ въѣѣ Трояни* и т. п. Среди различных гипотез, высказанных по этому поводу, была и такая, согласно которой в подлиннике «Слова» было не *Троянь*, а *Боянь*, а издатели «Слова» смешали сходные в старинной западнорусской графике начертание *Б* и лигатурное начертание *Тр*. Не трудно видеть, что почва для этой гипотезы, как бы ее ни оценивать, создается затруднительностью истолкования слова *Троянь*, если признать такое написание не искаженным. Поэтому противники данной гипотезы принуждены производить сложные исторические исследования, цель которых — так или иначе доказать возможность притяжательного прилагательного от собственного

имени *Троян*, понимаемого различным образом, в тексте древнерусского героического эпоса. Таким образом, совершенно внешняя, казалось бы, задача — выбрать одно из двух чтений для подготовляемого к изданию текста «Слова» или снабдить известной квалификацией каждое из этих чтений в примечаниях к тексту — оказывается неразрешимой без развернутых исторических разысканий и глубокого анализа самого содержания памятника.

Все это не лишает силы нашу исходную точку зрения: все-таки до тех пор, пока не решено, как следует читать в соответствующих местах «Слова» — *Трояню* или *Бояню* и т. д., — текст «Слова» не существует, и изучение памятника в его историческом и художественном содержании невозможно. Но все же ясно, что отношения «филологии» к соответствующим специальным наукам нельзя определять как односторонне вспомогательные и служебные. Выясняется, например, что «филолог» не только служит историку, но и сам требует также известных услуг от историка. Дело здесь, разумеется, не в наличии двух лиц: чаще всего бывает так, что «филолог» и «историк» объединяются в одном и том же лице. Дело в наличии двух задач: одна обращена к тексту памятника, другая — к тому, о чем говорится в памятнике. И вот выясняется, что не только практически, но и в существенном смысле одна задача от другой не отделима и каждая из двух предполагает предварительное разрешение другой. Какие вопросы более общего содержания возникают в связи с этим и как они разрешаются, увидим далее (см. § 10, 11), но уже и сейчас можем утверждать, что односторонне служебный, внешний характер филологической работы в ее отношении к научному исследованию в собственном смысле слова в данном толковании понятия филологии составляет его важное внутреннее противоречие.

Сказанное имеет еще и тот смысл, что не следует представлять себе филологическую работу оторванной от собственно научной работы и в чисто профессиональном отношении. Ничего не может быть более вредным, чем представление о том, что можно заниматься творческой научной работой и создавать содержательные обобщения без необходимости «рыться» в сыром материале, разбирать разного рода «мелочи» текста и

т. д., предоставляя всю эту неблагодарную черновую работу особого рода специалистам — «филологам». Разумеется, личные склонности различны. Но в принципе не может быть в науке хорошего чернорабочего, который, по крайней мере, не видит проблем более общего значения, и в особенности верно обратное: не может быть подлинного ученого, который не способен сам обслужить себя со стороны своих потребностей в черновой работе, который не чувствовал бы себя совершенно свободно в атмосфере сырых материалов и так называемых научно-вспомогательных проблем, более того — не любил бы «рыться» в текстах и изданиях, не считал бы этого своим собственным делом. В качестве примера можно было бы назвать знаменитого московского ученого Ключевского, известный четырехтомный «Курс русской истории» которого не содержит почти никаких извлечений из памятников и никакого филологического аппарата, но который, тем не менее, среди деятелей своего поколения был бесспорно самым лучшим знатоком архивного материала, относящегося к истории Московского государства и превосходнейшим «филологом» в данном смысле слова. Изложенное в этом параграфе понимание филологии не свободно поэтому от упрека и в том отношении, что способно внушить представления, в их развитом виде ведущие к выводу, будто ученые вообще делятся на ремесленников-эмпириков, ничего не видящих дальше своего носа, и верхоглядов-теоретиков, не умеющих видеть даже того, что находится у них непосредственно под носом.

Это, однако, не последнее из распространенных толкований понятия филологии.

§ 4. ФИЛОЛОГИЯ КАК ИСТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Довольно широким распространением пользуется также такое воззрение, которое видит в филологии систему наук, со-

вместно изучающих историю какой-нибудь национальной культуры в совокупности всех ее многообразных проявлений.

С этой точки зрения нет какой-либо одной, общей филологии, а есть только филология русская или вообще славянская, английская или вообще германская, и соответственно французская или романская, арабская или семитская, венгерская или финно-угорская и т. д. Каждая такая национальная филология изучает язык, фольклор, письменность, поэзию, этнографию, живопись, зодчество, театр, религию, философию, право, политическую историю и все прочие явления соответствующей культуры как предметы отдельных глав особого рода «филологической энциклопедии», долженствующей представить подробную и цельную картину духовной жизни данного народа или группы народов. Именно это понимание филологии лежит в основании таких выражений, как кафедра славянской или иранской и т. п. филологии, или «Энциклопедия славянской филологии» (издание Российской Академии наук, выходявшее в 1908 — 1915 гг.), «Grundriss der germanischen Philologie» (известное издание Германа Пауля), «Grundriss der romanischen Philologie» (издание Густава Грёбера) и т. п. Короче говоря, филология в данном случае понимается, как история данной национальной культуры, слагающаяся в нечто цельное из истории отдельных ее областей.

Этот взгляд на филологию также не свободен от внутренних противоречий и возбуждает сомнения, по крайней мере, двоякого рода.

Во-первых, отдельные национальные культуры не изолированы. Нет сомнений в том, что каждая национальная культура, рассматриваемая со стороны ее материальных воплощений, действительно специфична и своеобразна. Достаточно в этом отношении сослаться на такие явления культуры, как язык или быт. Но в то же время каждому понятно, что об абсолютной замкнутости национальных границ здесь не может быть и речи. Даже оставляя в стороне все, что может быть сказано о единстве культурно-исторического развития человечества, об общечеловеческих культурных ценностях и постоянном взаимодействии культур, осуществляющемся в ходе человеческой истории, здесь нужно принять во внимание только то, что каждая культура слагается хотя и из не похожих, но однород-

ных явлений: у каждого народа есть язык, быт, искусство, политическая история и т. д., хотя все это у разных народов, может быть, и не похоже, не совпадает в своем внешнем, материальном воплощении. Но тогда спрашивается, как, например, надо изучать русский язык: как нечто, составляющее одно целое вместе с русской литературой, с русским искусством, с русским бытом, с русской политической историей, или как нечто, что может быть исследовано в своей природе только при совместном изучении с языками английским, персидским, эстонским и т. д.? Ясно, что русский язык как один из человеческих языков может изучаться только так, как вообще изучаются языки в языковедении. И этому нисколько не мешает признание того бесспорного факта, что в своей исторической жизни русский язык тесно связан и даже сливается с русской историей, литературой и вообще со всей русской культурой в целом. Но одно дело — изучение языка, как известной стороны действительности, в его собственной природе, и совсем другое дело — учет тех общих исторических связей и условий, в которых осуществляется конкретная историческая судьба данного языка.

Поэтому приходим к выводу, что так называемая национальная филология никак не может пониматься как некая самостоятельная научная проблема или система наук. В лучшем случае она есть свodka, объединение некоторой части данных, порознь отвлекаемых от отдельных наук в той мере, в какой эти данные применимы в обобщенной истории данного народа или группы народов. Филология в этом смысле, как и ранее, не имеет своего собственного материала, а лишь сопоставляет и объединяет сторонние наблюдения и выводы. Такие сводки данных, несомненно, обладают большой практической полезностью и нужда в них возникает постоянно. Но все же это не система знаний, а именно только совокупность добываемых со стороны сведений, «агрегат», как когда-то определял филологию этого типа Гегель.

Во-вторых, нужно обратить внимание на разницу, которая существует между культурой отдельного народа и группы народов. Например, культура английского народа, несомненно, представляет собой известное конкретное единство. Но что такое культура «германских» народов, которая должна изучать-

ся «германской» филологией? Да и что такое вообще «германские» народы, понимаемые как некоторое единство, — реальное ли это единство? Если, например, английская литература имеет известные связи с немецкой литературой, то вряд ли потому, что и англичане, и немцы — народы германские, так как эти связи не могут быть в существенном смысле отличены от связей, которые существуют, например, у английской литературы с литературой романцев-французов. С другой стороны, совершенно ясно, что англо-французские литературные, да и не только литературные связи гораздо более содержательны, чем связи англо-шведские или англо-голландские, хотя шведы и голландцы это тоже германцы. Не трудно прийти к выводу, что не существует никакой «германской» литературы или вообще «германской» культуры как чего-то единого и специфического. Есть только один реальный признак, на основании которого мы вообще распределяем народы по национальным группам. Этот признак — родство по языку. Германские народы это, может быть, народы в антропологическом, этнографическом и в целом ряде других отношений совсем разные, но они говорят на языках, имеющих общее происхождение. Ясно, что этого слишком мало для того, чтобы говорить о единой культуре в применении к целой группе народов.

И в самом деле, даже и языки германских народов с течением времени стали друг на друга очень не похожи. Общеизвестно, что современный английский язык, например, в целом ряде отношений больше похож на французский, чем на немецкий. Английский язык сохраняет много общего с немецким в общем своем фонетическом облике, в глагольной системе. Но именная система английского языка и его лексика несомненно очень сильно сблизилась с соответствующими свойствами французского языка. А уж нечего и говорить о том, что родство по языку вовсе не влечет за собой автоматически родства культуры в остальных отношениях, а главное — совсем не предполагает общности культурного развития. С другой стороны, вполне возможно культурное единство таких народов, языки которых не находятся в отношениях ближайшего родства. Русские по языку гораздо ближе к литовцам и латышам, чем к англичанам или французам, но культурные связи между

русскими и народами балтийской группы по своему значению совершенно несоизмеримы с отношениями между русскими и англичанами или французами. Еще более выразительный пример дает нам мировое значение арабской культуры.

Арабы по языку семиты, как и евреи. Между тем, вследствие широчайшего распространения арабского языка и вообще арабской культуры во всем мусульманском мире, арабская филология гораздо теснее связана с филологией тюркской или иранской, чем с еврейской.

Наконец, с идеей национальной филологии в данном отношении плохо согласуется и та область знания, которая, как вскоре увидим, послужила первоначальным образцом для филологии германской, романской, славянской и т. д., именно так называемая классическая, или античная филология. Под этим названием разумеется совокупность наук, относящихся к культуре древней Греции и Рима. Разумеется, и классическая филология не есть система знаний, а только «агрегат», как об этом сказано было выше. Но зато она свободна от той искусственности, которая характеризует группировку народов по единственному признаку родства языков в филологиях национального типа: греки и римляне объединяются классической филологией не по признаку родства языков, так как греческий и латинский языки хотя вообще и родственны как языки индоевропейские, но не образуют отношения ближайшего родства, а действительно по признаку общности культур.

В общем, приходим к выводу, что идея национальной филологии в применении к культуре группы народов не выдерживает логического испытания в самом своем основании. Она сохраняет известное значение только в применении к древнейшей стадии развития некоторых областей культуры, в строгом смысле — только в применении к древнейшим стадиям истории генетически связанной группы языков, но не может служить стержнем подлинно научного построения. Что же касается национальной филологии как энциклопедии знаний по культурной истории одного отдельного народа, то такая энциклопедия принципиально неспособна перерасти рамок простой сводки разнородного материала и представить собой какое-либо самостоятельное научное целое.

Это, впрочем, не означает, будто культурная история какого-либо отдельного народа как нечто цельное вообще не может служить предметом самостоятельного научного исследования. Но в этом случае искомое целое культурной истории народа не может быть получено путем механического соединения истории языка, истории литературы, истории быта, верований и т. д., а наоборот, само по себе должно служить прямым предметом и исходным началом исследования. Цель такого исследования должна в этом случае заключаться в том, чтобы выяснить, как известные общие свойства данной нации, окрашивающие собой всю ее историческую жизнь в целом, проявляются в ее языке, литературе, верованиях, быте и т. д. Иными словами, это должен быть путь, прямо противоположный тому пути, каким обычно идут в построении филологических энциклопедий, — путь не от слагаемых к сумме, а от целого к частным проявлениям этого целого. И уже совсем странно было бы именовать такого рода исследование свойств народа в их историческом обнаружении исследованием филологическим. Скорее его можно было бы понять как задачу так называемой народной, или этнической, психологии — науки, провозглашенной во второй половине XIX в. Штейнталем и Лацарусом, представленной (правда, в очень спорной и даже прямо неудачной форме) известным монументальным, но не завершенным трудом Вундта «*Völkerpsychologie*»* и т. п. Другое дело, что наука этнической психологии до сих пор существует больше в намерениях и возможностях, чем в осуществленных результатах. Но здесь не место выяснять причины того, почему эта наука не получила того развития, на которое рассчитывали ее пионеры**.

Нужно однако предупредить о том, что исследования, ставящие перед собой задачу изучить «дух народа» (как часто выражаются в этих случаях) в его исторических обнаружениях, подвержены очень сильному соблазну метафорически-идеалистического истолкования этого понятия. Этого рода истолкования народного духа обычно оказывались в ближайшем соседстве с идеями национального и расового шовинизма, от которых не свободны и многие попытки создания филологических энциклопедий. Этим, в частности, объясняется и то настороженно-подозрительное отношение к идеям этнической

психологии и национальных филологий, которое наблюдалось в течение второй половины XIX в. в передовых общественных кругах Европы. Так, например, Энгельс чутко улавливал связь между увлечением славянской филологией и реакционными идеями панславизма.

§ 5. ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ ФИЛОЛОГИИ

Раньше чем продолжать начатое рассуждение о задачах и природе филологии, необходимо спросить себя, существует ли какая-нибудь связь между изложенными до сих пор, столь различными по своему характеру толкованиями понятия филологии? Случайно ли все эти разнородные построения именуются общим именем филологии, или же между ними и в самом деле есть что-нибудь общее, может быть, в прошлом, если не сейчас?

Такая общность есть, и заключается она прежде всего именно в общности исторической традиции. Это заставляет нас обратиться к историческим корням современных филологических знаний. Филологические знания как обособленный вид деятельности и профессиональных занятий сложились в эллинистическую эпоху, к концу IV в. до н. э. Высшая точка подъема античной духовной жизни, как она отразилась в памятниках поэзии, науки и искусств древней Греции, к этому времени была уже позади, и новые поколения принуждены были жить преимущественно великим культурным наследством прошлого. Между тем непосредственная доступность культурных памятников прошлого неизбежно уменьшалась. Ряд обстоятельств, о которых здесь нет надобности подробно говорить, способствовал тому, что одним из наиболее влиятельных центров, сосредоточивших в себе собирание и изучение памятников древней греческой письменности, стала Александрия, возникшая во второй половине IV в. до н. э. в качестве форпоста греческой цивилизации в Египте. Здесь образовалась

одна из громаднейших библиотек древнего мира, особенно умножившаяся в правление Птолемея Филадельфа (309 — 246 гг. до н. э.) и насчитывавшая к этому времени, как говорят источники, до полумиллиона единиц хранения, включая множество дублетных экземпляров.

Уже само по себе это собрание должно было породить профессионалов, которые были бы людьми, сведущими в литературе, умеющими разбираться в различных рукописных версиях одного и того же произведения и выбирать путем сличения лучшие, определять авторов безымянных рукописей и отличать подлинники от подделок, сортировать писателей по тем или иным признакам их достоинства, по жанровым и формальным свойствам их произведений, собирать материал географического, мифологического и иного содержания для объяснения того, что могло уже стать не вполне понятным в текстах классических писателей, составлять соответствующие каталоги, своды и т. д. Все это и стало делом ученых хранителей александрийской библиотеки, которые и явились таким образом первыми филологами в определенном смысле этого понятия.

В чисто практической обстановке работы над рукописями александрийской библиотеки на протяжении нескольких поколений в среде александрийских библиотекарей создавалась богатая, блестящая филологическая традиция. Многие ее представители успели широко прославиться еще при жизни своей громадной ученостью, искусством обращаться с рукописным преданием, авторитетностью комментария и эстетического суждения, наконец, также и своими талантами мыслителей и писателей. Таковы имена деятелей III — II вв. до н. э. Каллимаха, Зенодота, Эратосфена Филолога (так он сам величал себя, желая подчеркнуть этим свою славу, как необыкновенного эрудита), Аристофана Византийца, Аристарха, деятельность которого (222 — 150 гг. до н. э.) составляет время высшего расцвета александрийской филологии, и др.¹ В работе этой плеяды деятелей приобрели свои первоначальные очертания и

¹ Подробности — в сочинениях по истории классической филологии (см. библиографию в конце книги*), в частности в т. I сочинения SAYS'a** или в хорошей маленькой книжке Kroll'я***.

основные отрасли филологического труда — начатки языковедения, критика текста, теория комментария — «герменевтика», лексикография, источниковедение и т. д. Большой интерес представляет то обстоятельство, что александрийцы никогда не называли свою деятельность именем науки, *ἐπιστήμη*, они называли ее искусством, *τέχνη*, и именно *ἡ γραμματικὴ τέχνη*, то есть грамматическим искусством, а самих себя соответственно — грамматиками, *οἱ γραμματικοί*¹. Конечно здесь «грамматика» означает совсем не то, что сейчас, то есть не отдел языкознания и соответствующую школьную дисциплину. Александрийцы понимали грамматику в очень широком смысле как искусство, относящееся ко всему написанному и составляющему известный итог, свод всего известного людям². Одно из дошедших до нас и, по-видимому, широко в свое время известных определений грамматики, приписываемое обычно Дионисию Фракийцу (ок. 170 — 90 гг. до н. э.), понимает под ней «осведомленность (*ἐμπειρία*) в большей части того, о чем говорится у поэтов и прозаиков». Но были теоретики, протестовавшие против этой ограничительной оговорки «в большей части». Самое содержание грамматического искусства по тому же определению, складывалось из четырех³ частей или обязанностей — *μέρη ἔργα, officia*: 1) умение прочесть произведение в соответствии с правилами просодии, выразительности — *ἀναγνώστικόν (μέρος), recitatio*; 2) умение исправить погрешности в тексте произведения — *διόρθωτικόν, recensio*; 3) умение объяснить в нем все требующее комментария — *ἐξηγητικόν, interpretatio*; 4) умение дать ему надлежащую эстетическую оценку, разумеется, по канонам того времени — *κριτικόν, judicium*. Для выполнения этих обязанностей грамматик располагал соответствующими орудиями — *ὄργανα*: знанием языка, метрики и реалий, то есть имен вещей. Важнейшее из этих «орудий» — разумеется, знание языка во всех его

¹ Это обстоятельство очень подчеркивает Узенер в своей замечательной речи «Philologie und Geschichtswissenschaft» (Bonn, 1882).

² *Τά γραμματικά* в буквальном латинском переводе — *litterae*, означает буквы, а отсюда — написанное, письменность, литература.

³ В некоторых учениях этих частей насчитывалось шесть.

тонкостях, то есть то, без чего нельзя взять рукопись в руки: здесь, следовательно, истоки традиции, понимающей филологию как изучение языковой формы памятника (§ 2).

На основании сохранившихся данных можно попытаться представить себе общий облик ученого, воспитанного александрийской традицией или другим каким-нибудь сходным очагом эллинистической культуры. Это должен был быть человек, в центре жизненного внимания которого стояла рукопись, книга, текст, автор, как воплощенная идея и сумма знаний и для которого реальная историческая обстановка, сама по себе действительность в ее прошлом и настоящем существовала преимущественно в той мере, в какой она могла служить объяснением к сказанному у автора. Текст классического автора с этой точки зрения должен был представляться как бы фокусом, в котором собирались разнообразные сведения и справки, нужные для того, чтобы этот текст можно было обработать, как этого требовали *officia*. Ясно само собой, что сведения и справки требовались при этом самого разнообразного содержания. Этим объясняется жадная любознательность, а также и энциклопедический характер учености первых филологов. Среди них были замечательные знатоки вовсе не только языка или метрики, но также сочинений по геометрии, астрономии или географии. Вообще грамматик должен был знать все, то есть все то, что могло оказаться упомянутым у того или иного автора, в том или ином сочинении.

Все это делает понятным, почему к данному типу знания и занятий действительно не вполне удобно прилагать имя науки в строгом смысле этого понятия. Деятельность этого рода представляет собой движение от действительности к книге, к автору. Это были, следовательно, знания, характеризовавшиеся не со стороны своего содержания и способа добывания, а только по своеобразному способу их применения в интересах того, что представлялось непосредственной данностью и конечной целью усилий: рукописи, текста. Это делает понятным также и то, что собственные произведения представителей такого рода филологии в такой большой мере представляют собой различные комментарии, схолии, глоссы, справочники, словари и другие образцы этого же жанра.

Теперь не трудно видеть, как родилась и к какому источнику восходит современная филология, когда под ней подразумевают так называемую филологическую обработку текста (см. § 3). Современные приемы филологической обработки текста по своему высокому совершенству совсем не похожи на первые опыты александрийских грамматиков и часто достигают такой высокой степени технической точности, о которой в описанное только что время и мечтать нельзя было. Однако самая идея труда и профессии осталась совершенно та же. Первично дан текст, и для того чтобы он мог сохранять свое существование, он должен быть обставлен соответствующими условиями. Эта идея из Александрии и других эллинистических центров была перенесена в Рим (первоначальным насадителем филологии в Риме был Кратес из Маллоса, вождь пергамских ученых, враждовавших с александрийскими грамматиками и называвших себя в противовес тем «критиками»); она подспудно продолжала жить в течение средних веков в очагах монастырской культуры, зажила новой жизнью после Возрождения и в конце концов была передана новому времени в виде мощной традиции классической филологии¹, то есть филологии, обращенной к памятникам Греции и Рима. История этой традиции и специальные особенности ее сегодняшней судьбы не входят в задачу данного очерка. Нужно только упомянуть, что с течением времени, и именно в связи с археологическими открытиями Возрождения и последующих периодов, приемы работы, сложившиеся в применении к письменным памятникам, начали переноситься, разумеется, с необходимыми модификациями, и на памятники вещественные. Так, например, реставрация художественных памятников древности представляет собой в идее полную аналогию реставрации утраченных частей какого-нибудь текста и т. д. Но вместе с ростом и совершенствованием описанной филологической традиции параллельно происходили процессы, подтачивавшие внутреннее единство филологических изучений в их направленности на памятники античной культуры как нечто замкнутое и цельное. Процессы разложения филологии назревали с разных сторон. Во-первых,

¹ Собственно имя *филологии* за этой традицией закрепилось относительно поздно, уже после Возрождения.

с течением времени в орбиту внимания любителей письменности и других древностей попадали также памятники не греко-римской, а иных, например, восточных культур. Обработка и изучение этих памятников требовали уже совсем других сведений, иной техники, иного взгляда на вещи. Во-вторых, и это особенно важно, запас всевозможных материалов и сведений, накопившихся по мере успехов филологии, становился настолько большим, что неизбежно вызывал дифференциацию труда. Все более трудной должна была становиться задача объяснения памятника во всех отношениях сразу, и при том — памятника любого характера. На этой почве возникало расчленение прежнего типа образованности, то есть образованности общего энциклопедического характера, на отдельные специальные области сообразно разным типам памятников, по их форме или содержанию, а также и сообразно различным сторонам действительности, находящим свое выражение в памятниках. Так, одни филологи имели преимущественно дело с текстами поэтическими, другие — с текстами прозаическими, одни — с рукописными, другие — с нанесенными на твердую поверхность — с надписями; одни филологи специализировались на обработке памятников со стороны языка или метрики, другие — со стороны реалий, и т. д. Эти процессы дифференциации филологических знаний продолжают до сих пор, и в особенности они заметны еще в более молодых по времени сложения областях филологии, как, например, востоковедение, романская или славянская филология и т. д.

Самое же существенное заключается в том, что с известного времени в мировоззрении носителей европейской культуры произошел решительный поворот во взглядах на историю человечества и способы ее изучения. А так как филология всегда имела дело с материалом исторического характера, то это изменение в понимании истории не могло не коснуться и судьбы филологии как специфической области знания. Рядом с филологией возникла наука истории, а отдельные области филологии, на которые она постепенно распадалась в силу указанных причин дифференциации и разделения труда, стали приобретать форму самостоятельных исторических наук, обращенных уже не к памятникам, а через них прямо к самой действительности. Таким образом, наряду с расчленением филологии на

самостоятельные области знания, создались также параллелизм и конкуренция в отношениях между филологией и историей. Все вместе взятое явилось причиной глубокого кризиса старинной филологической традиции, особенно сильно сказавшегося в первой половине XIX в., но исподволь назревавшего уже и ранее.

Изучение этого кризиса и должно составить ближайшую задачу нашего изложения.

§ 6. КРИЗИС ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Как уже сказано, описываемый кризис наиболее отчетливое свое выражение нашел в том факте, что с филологией стала соперничать научная история. Известно, что история стала наукой в подлинном смысле этого понятия, в сущности, очень недавно — не ранее второй половины XVIII в., а до того представляла собой лишь особую отрасль литературного искусства. Разумеется, предпосылки к превращению истории из литературного рассказа в исследование, опирающееся на твердую почву логики, стали создаваться уже издавна. Но действительно наукой, то есть исследованием, устанавливающим известные закономерности, история стала только тогда, когда человечество научилось смотреть на совершившееся в прошлом и совершающееся в настоящем не просто как на совокупность интересных или поучительных происшествий и фактов, не как на хаотическое нагромождение случайностей, а как на некоторое связанное целое, осуществление некоторого развития.

Выработка научного взгляда на историю была, таким образом, одним из существенных результатов исторического мировоззрения, так называемого историзма, явившегося одним из самых могущественных веяний в духовной жизни европейских народов на рубеже XVIII и XIX веков. Распространение исторического мирозерцания тесно связано с расцветом философского идеализма разных оттенков, и это сказалось в том, что

время Лейбница, Канта, Гегеля было вместе с тем временем отчетливого формирования и первых прочных успехов философии и методологии истории, впоследствии, разумеется, коренным образом пересмотренных философией диалектического материализма. Но в общем движении к историзму участвовали также писатели-романтики, с их интересом к народности и старине, с их обостренным чутьем своеобразия и самобытности в различных проявлениях данной национальной культуры. Наконец, в том же направлении развивалась также мысль отдельных представителей филологического знания и его различных областей, как, например, Винкельмана, сочинение которого «История древнего искусства» (1764) обычно считают первым прямым выражением самой идеи исторического искусствознания. В этой-то духовной атмосфере и переживала филологическая традиция то перерождение, о котором мы должны сейчас говорить.

В длительном и сложном процессе превращения истории из литературного явления в явление науки (в известном смысле этот процесс можно считать не вполне законченным и для нашего времени) должны были сыграть свою роль и те собственно исторические навыки и сведения, которые были накоплены филологической традицией. Вот почему в многочисленных сочинениях на тему об «искусстве писать историю», которые предшествуют различным попыткам создать методологию научной истории, и в особенности в соответствующих сочинениях XVIII в., так много говорится о достоверности исторических источников и приемах их критической обработки, то есть в вопросах, издавна хорошо знакомых филологам и сохраняющих все свое значение и для современной исторической методологии. С известным правом можно сказать, что раньше, чем превратиться в научную историю, литературно-повествовательная история должна быть оплодотворена приемами филологического анализа памятников. Крупнейшие историки античности в XIX в., изучавшие античность с позиций научной истории нового типа, были в то же время настоящими филологами-классиками. Таковы, например, Нибур (1776 — 1831), Моммсен (1817 — 1903).

Однако в той мере, в какой история нового типа усваивала из филологической традиции свойственные последней строгие и

точные приемы работы над источником, неизбежно создавалась атмосфера соперничества между филологом и ученым-историком. Последний, естественно, не мог довольствоваться воззрением на исторический факт только как на материал для объяснения памятника. Предметом его исследования был уже не сам по себе памятник, а историческая действительность в ее законосообразном развитии, памятник же стал лишь средством к овладению этим предметом. Между тем филологи в той мере, в какой они осознавали себя историками, по-прежнему представляли себе историческое исследование только в форме комментария к памятнику. С удивительной ясностью это сказалось в инциденте, о котором рассказывает один из крупнейших немецких филологов второй половины XIX в. Герман Узенер: «До сих пор, — говорил Узенер в 1882 г., — звучат у меня в ушах поразительные слова, которыми один из моих университетских учителей приветствовал только что появившуюся книгу о римском триумфе¹: Как может разумный человек писать исследование о триумфе? Вот если бы ему надо было объяснить какое-нибудь место у Ливия, в котором идет об этом речь, он мог бы достать параллельные места и разъяснить неясное. Но книга? Кто спрашивает сам от себя (von sich aus) о триумфе?»* Действительно, филолог старой формации сам от себя не задает никаких вопросов, а следует только за вопросами, задаваемыми текстом. Поэтому историкам этот традиционный филологический подход к делу должен был казаться смешным и устарелым крохоборством, буквоедством, филологам же новейшие попытки историков — ширококвещательным дилетантизмом.

Но дело не только в этом перенесении центра внимания с памятника на самую действительность. Дело также в том, что если история есть действительно закономерный процесс, то она есть непременно процесс мировой, общечеловеческий. Этот процесс по-разному, с различной степенью яркости своих отдельных этапов может выражаться в истории отдельных человеческих групп, но во всяком случае история перестает быть повествованием о судьбах избранных, как иногда выражались, «исторических» народов и в идеале становится наукой о жизни

¹ Речь идет о книге, изданной в 1854 г.

человечества в целом. Понятно, что и эта черта новой исторической науки, с полной ясностью определившаяся в ней только с течением времени, шла в разрез с давней традицией филологических знаний, ограниченных преимущественно областью греко-латинской античности. Сейчас нам представляется элементарно простым тот факт, что история древнего греческого общества теснейшим образом связана с историей других человеческих групп и сама имеет свою предысторию в культуре более древних народов. Но потребовалось известное время, пока этот факт превратился в нечто элементарное для умов, воспитанных многовековой традицией, круг исторических воззрений которой был замкнут тем, о чем говорится у античных поэтов и прозаиков.

Так или иначе, но уже в начале XIX в. создалось положение, неизбежно порождавшее острый конфликт между филологией и историей. Оказалось, что предметы, составлявшие в течение многих веков область филологических занятий, выделяются из состава филологического энциклопедизма, притом не только по причинам необходимости разделения труда, но также и в результате критического пересмотра прежних методов работы. Исторические знания эмансипируются, образуют особую научную область, создают новую линию научно-академической специализации. При этом важнее всего то, что этот процесс эмансипации переживается не только так называемой общей историей, то есть историей социально-политической и военной, историей государств и народов, но также и всеми теми частными ответвлениями исторической науки в ее всеобъемлющем смысле, которые мало-помалу начали вырастать в особые научные дисциплины по мере усложнения проблем и увеличения материалов, то есть историей литературы, историей языка, историей искусств, историей научного знания, историей хозяйства, историей религий и т. д. Все эти отдельные исторические науки на протяжении XIX в. одна за другой стали формироваться как особые проблемы и особые специальности, отрываясь от породившей и воспитавшей их филологии, подобно тому, как созревшие птенцы покидают гнездо, в котором они выросли. Но если, таким образом, вся филология оказалась поделена на части, зажившие обособленной, самостоятельной жизнью, то сама филология, очевидно, должна была прекра-

тить свое существование, потому что стала беспредметной? Именно в этой форме и обозначился тот конфликт между филологией и историческими науками, о котором здесь говорится: если история и ее отдельные отрасли действительно представляют собой самостоятельные науки, то что остается делать филологии? Если же филология тем не менее существует, то как примирить ее традиции с теми новыми научными запросами, которые идут от истории и отдельных исторических наук?

Неудивительно, что именно первая половина XIX в. оказалась эпохой, особенно богатой различными методологическими сочинениями и соответствующими дискуссиями на тему о том, что такое филология и каковы ее отношения к истории. Спокойная, усидчивая работа над классиками и античными источниками, давшая обильные и ценнейшие плоды на почве, возделанной Ренессансом, сначала во Франции (XVI — XVII вв., крупнейший представитель эпохи — Иосиф Скалигер), потом в Голландии и Англии (XVII — XVIII вв., крупнейший представитель эпохи — англичанин Ричард Бентли), с конца XVIII в. стала все более заметно сопровождаться тревожными поисками ответа на общий вопрос о природе филологии и ее месте в системе человеческих знаний, напряженной разработкой вопросов филологической методологии.

Вопросы эти разрабатывались преимущественно в Германии, в обстановке расцвета философского идеализма и художественного романтизма. Основной вопрос этого рода был вопросом об отношении филологии к истории. С двумя важнейшими попытками дать ответ на этот вопрос мы теперь и познакомимся. Это попытки Вольфа и Бека.

§ 7. ФРИДРИХ-АВГУСТ ВОЛЬФ

С именем Фридриха-Августа Вольфа (1759 — 1824) издавна уже принято связывать новую эру в истории филологических знаний в Европе, и это независимо от специальных заслуг

Вольфа в области классической филологии¹ надо признать верным в том отношении, что Вольф явился создателем первой по времени, вполне обстоятельно изложенной системы филологии как рационально построенного и замкнутого круга знаний. Вольфу именно принадлежит попытка понять филологию как самодовлеющую единую науку, и это сказалось уже и в том характерном факте его биографии, произведшем большое впечатление на его современников, что при поступлении в число студентов Геттингенского университета в 1777 г. он настоял на том, чтобы его записали в матрикуле как «студента-филолога» (*Studiosus Philologiae*), что совершенно не предусматривалось обычаями: были только студенты-теологи, студенты-юристы и т. д. Однако, признавая эту выдающуюся роль Вольфа как систематизатора филологических знаний своего времени, нельзя не соглашаться с мнением некоторых историков филологии, что собственно идейная инициатива в новой филологической эре принадлежала не Вольфу, а создателям романтического и неогуманистического мировоззрения, воспитанником которого был он сам².

Вольф был больше всего педагог, и именно из его педагогической деятельности, как он сам об этом сообщает, выросла та система филологии, которую принято считать поворотным пунктом в истории этой области знания. В 1807 г. Вольф опубликовал сочинение под заглавием: «*Darstellung der Alterthums-Wissenschaft* («Изложение науки о древности»)***. В предисловии к этому сочинению говорится, что оно выросло из цикла лекций, служивших «введением к энциклопедическому обзору знаний, обычно именуемых филологическими». По словам Вольфа, в самом же начале его профессорской деятельности он почувствовал «властное стремление отдать себе самому и своим слушателям определенный отчет в общем понятии, содержании, связи и основной цели занятий этого рода, относи-

¹ Одна из важнейших заслуг Вольфа в этом отношении — новая постановка вопроса о Гомере в его знаменитых «*Prolegomena ad Homerum*» (1795)*.

² Например, Кролл пишет: «Новая эпоха в нашей науке начинается не с Вольфа, с которого обычно ее начинают, а с Винкельмана, Лессинга и Гердера»**.

тельно которых сочинения самых признанных знатоков представляют мало удовлетворительного». При этом, говорит Вольф, он поставил себе задачей понять весь круг соответствующих знаний как «одно органическое целое» и этим поднять их до уровня «упорядоченной философско-исторической науки». С этой целью он и начал читать названный курс лекций — впервые в 1785 г. Таким образом, названное его сочинение представляет собой плод по меньшей мере двадцатилетнего опыта размышлений и преподавания. В чем же заключается итог этого длительного опыта?

Основная мысль сочинения Вольфа отчасти сказывается уже в том именовании, которое он избирает для анализируемой им области знаний. Перечисляя ходовые обозначения этой области — «филология», «классическая ученость», «древняя литература», «гуманитарные занятия», «изящные науки» (перевод французского *belles lettres* — выражения, впоследствии закрепившегося в качестве обозначения повествовательной художественной литературы), Вольф находит известные недостатки или неясности в каждом из них. Он предпочитает всем им свой собственный термин *Alterthums-Wissenschaft* — «наука о древности», содержание которой он определяет как «совокупность знаний и сведений, знакомящих нас с действиями и судьбами, с политическим, ученым и бытовым состоянием греков и римлян, с их культурой, с их языками, искусствами и науками, правами, религиями, национальными характерами и образом мышления, так что мы становимся способными основательно понимать их дошедшие до нас произведения и, проникая в их содержание и дух, воспроизводить античную жизнь и сравнить ее с позднейшей и современной».

Раскрывая далее в подробностях эту формулу, Вольф характеризует отдельные отрасли, из которых в сумме складывается постулируемая им наука о древности. Это, во-первых, знания служебного характера, представляющие собой орган собственно науки, а именно грамматика, герменевтика, определяемая как «искусство проникательно раскрывать мысли аавтора из их изложения», и критика. Во-вторых, это различные дисциплины, порознь ведающие отдельными сторонами античной культуры, как, например, древняя география, хронология, мифология, история литературы, история искусств, эпиграфика,

так называемые древности, то есть история социальных установлений, ремесел, быта и т. д. В общем итоге схема Вольфа состоит из двадцати четырех дисциплин, составляющих в совокупности «науку о древности», считая дисциплины обоих родов, причем дисциплины второго рода — порознь применительно к грекам и римлянам.

Здесь нет надобности входить в подробное обсуждение всего хода аргументации Вольфа и тех характеристик, которые он даст отдельным дисциплинам из числа этих двадцати четырех. Общая идея Вольфа в достаточной мере определяется уже и тем немногим, что сказано. Не трудно видеть, что это есть та именно идея, которая лежит в основании рассмотренного уже выше (§ 4) воззрения на филологию как на особую научную систему, складывающуюся из совокупности знаний об отдельной, в себе замкнутой культуре, т. е. также и в основании понятия так называемой национальной филологии. Именно Вольф и был первым научным организатором этой идеи, перенесенной учеными последующих поколений с античной почвы на почву культурной истории других народов или групп народов.

Разумеется, и сам Вольф не мог не понимать, что допускавшееся им ограничение «науки о древности» только культурой греков и римлян нуждается в какой-то рациональной мотивировке. Ведь древность это не только греки и римляне, по так же, как заявляет сам же Вольф на первых страницах своего сочинения, египтяне, евреи, персы, народы Азии и Африки. Но, рассуждает Вольф, есть существенная разница между греками и римлянами, с одной стороны, и прочими народами — с другой. Первые создали «высшую подлинную духовную культуру», тогда как вторые — только «цивилизацию». Это противопоставление культуры и цивилизации, ставшее после Вольфа привычным в европейской науке, может быть оправдано лишь как указание на разные и последовательные стадии в истории той или иной человеческой группы, но совершенно порочно, если его понимать как разную оценку истории разных человеческих групп. Да и с чисто фактической стороны непонятно, почему египетская или еврейская культура не такие же культуры, как греко-римская. Вся разница лишь в том, что не первые, а последняя стала отправным пунктом

культурного развития современных европейских народов, в принципе же здесь нет никакого различия. Но Вольф находился под обаянием распространенного в его время неогуманистического воззрения на древнего римлянина и особенно грека как на идеал духовного развития человеческой личности, следовательно, и как на идеал воспитательный, — воззрения, ярко отметившего собой деятельность Винкельмана, развивавшегося Вильгельмом Гумбольдтом и вообще оставившего очень заметный след во всей европейской культурной жизни XIX в. Тем не менее уже и ближайшие преемники Вольфа не могли не признать его систему, ограничивавшую рамки филологии греко-римской античностью, с этой стороны логически не выдержанной и ошибочной.

Довольно быстро обнаружилась также ее несостоятельность и в том отношении, что она была создана лишь применительно к древним, но не к новым народам. Как раз эпоха Вольфа была эпохой первоначальных успехов сравнительного языковедения, установившего языковое родство греков и римлян с рядом народов Востока и новой Европы. Установление этих родственных языковых связей произвело громадное впечатление на ученых начала XIX в., и в пылу увлечения они не заметили, как это языковое родство стало переноситься и на родство этническое и культурно-историческое. Рядом с понятием «праязыка» возникло понятие «прародины», как будто бы, например, несомненное языковое родство современных так называемых германских народов должно предполагать их совместное происхождение в чисто этническом и территориальном смысле (на самом деле, как мы знаем, отдельные германские народы, как, например, немцы и англичане, представляют собой совсем разные этнические типы). Овладевшая умами фикция полного единства национальных групп (не просто языков!) в далеком прошлом и породила то выделение обще-индоевропейской, а затем германской, романской, славянской и т. д. филологий, о котором уже шла речь в § 4. Таким образом, перенесение идеи Вольфа на почву новых европейских народов лишь внешним образом исправило логическую ошибку Вольфа, состоявшую в ограничении филологических наук исключительно древним и античным материалом. Но вместо этой ошибки появилась новая, притом гораздо более

опасная, потому что она была менее заметна, а именно ошибка внесения этнического принципа в построение филологии как науки.

Важнее же всего то, что система Вольфа явилась не столько ответом на вопрос, который был задан филологии идеей научной истории, сколько уклонением от этого ответа. Эта система отвечала лишь на вопрос о том, что такое филология с точки зрения Вольфа. Между тем отвечать надо было на вопрос о том, что такое филология как наука, отличная от истории, возможна ли филология как наука, несовпадающая с научной историей и отдельными ее ответвлениями. Не трудно видеть, что на этот последний вопрос построения Вольфа дают недвусмысленно отрицательный ответ, потому что все дисциплины, составляющие вольфовскую науку о древности, за исключением грамматики, герменевтики и критики, играющих в этой системе роль «органа» знаний, представляют собой не что иное, как именно исторические дисциплины. Прямо не высказанный, но с неизбежностью вытекающий из системы Вольфа вывод состоит в том, что классическая филология, какими бы новыми названиями ее не именовать, есть не что иное, как совокупность наук, изучающих историю Греции и Рима в широком смысле. Выражение «аггрегат наук», примененное Гегелем к филологии, было высказано им именно по адресу системы Вольфа и подражаний ей. Но вместе с тем ясно, что конфликт между филологией и идеей научной истории на почве вольфовской системы приводил к методологическому поражению первой: попытка понять филологию как самодовлеющую, особую науку Вольфу явно не удалась.

§ 8. АВГУСТ БЁК

Существенно новый и очень плодотворный нюанс в понимание отношений между филологией и историей был внесен деятельностью Августа Бёка (1785 — 1867)*, одного из наиболее видных преемников Вольфа в истории классической филологии в Германии. Как и Вольф, Бёк был выдающимся университет-

ским преподавателем. В течение многих лет он, по образцу Вольфа, читал обобщающий курс «энциклопедии и методологии филологических наук». Этот курс уже после смерти Бека был издан по запискам одним из его слушателей в 1877 г.*; но свои основные мысли по вопросу о природе филологии Бек по различным поводам успел высказать в печати еще при жизни, а кроме того они многократно излагались и комментировались различными его учениками не только в Германии, но и за ее пределами.

В чисто философском смысле изложение предмета у Бека стоит на неизмеримой высоте в сравнении с системой Вольфа. Это сказывается уже в первом параграфе его курса, который начинается так: «Понятие какой-нибудь науки или научной дисциплины не может быть определено тем, что будет по очереди перечислено то, что входит в ее предмет. Это как будто бы кажется само собой разумеющимся; но филологию многие привыкли рассматривать только как агрегат, и те, кто так смотрят на нее, не могут дать о ней другого понятия, кроме состоящего в перечислении ее частей, то есть по существу никакого. Определение филологии через перечисление ее частей нисколько не лучше определения прекрасного, которое Платон вкладывает в уста Гиппия: прекрасное — это прекрасная девушка, золото и т. д.». Бек называет такие способы определения филологии «смехотворными». В этом полемическом приступе к предмету нельзя не видеть решительного намерения преодолеть чисто эмпирическую, лишенную подлинного философского духа систему Вольфа. В другом месте Бек и прямо заявляет, что Вольф «обнаруживает полную неспособность к образованию понятий», что, по его словам, «не необычно для филологов». Сам Бек идет совсем иным путем.

Прежде всего он старается выяснить, может ли быть приписано понятию филологии нечто, что отличало бы ее от прочих наук. Указав, что понятие филологии не отождествимо ни с понятием науки о древности, ни с понятием языкознания, истории литературы, критики и т. д., Бек, однако, в результате приходит к выводу, что филологию по предмету ее занятий невозможно отличить от истории. «История, — говорит он, — только по видимости различается от филологии, и именно в отношении объема, так как обычно историю по ее главному

предмету ограничивают политической стороной, а остальную культурную жизнь рассматривают в дополнение к государственной жизни». Вывод этот имеет, таким образом, по внешности отрицательный характер. Но нужно сказать, что он вовсе не вытекает из самого хода рассуждений Бека и прочих определений, какими он предваряется, а именно в них и заключается оригинальная сторона его учения.

Дело в том, что Бек говорит о филологии не только как о сумме знаний, в каковом отношении она действительно сливается с историей в широком смысле слова, но и как об особом способе смотреть на вещи и разновидности познавательного акта. Все науки, рассуждает Бек, в конечном итоге составляют две области, как он выражается — «физику» и «этику», то есть науки «о природе» и науки «о духе». Филология не вмещается в эту схему, так как не принадлежит ни к одной из этих двух областей, но в то же время в известной мере охватывает обе.

Поясняя эту несколько неожиданную мысль, Бек говорит, что филолог не должен философствовать как Платон, но понимать Платона обязан, при чем вовсе не только как произведение словесного искусства, со стороны формы, но также и со стороны содержания. Точно так же филолог не может заниматься физическими опытами и рассуждениями, но сочинения исследователей природы составляют все-таки объект филологии. Вообще, говорит Бек, не создание чего-либо, не «продуцирование» входит в задачи филологов, а только познание созданного, «продуцированного». Поэтому истинную задачу филологии он определяет как познание познанного, познание того, что уже создано наперед человеческим духом.

В этой крылатой формуле — «познание», или как Бек выражается в другом месте, «воспознание познанного» (*Erkenntnis* или *Wiedererkenntnis des Erkannten*) — под «познанным» понимается не только в прямом смысле ставшее известным науке, но познаваемое также и художественно, воплощенное в практическом действии, вообще все, нашедшее свое закрепление в каком-нибудь сообщении, знаке, образе, слове. Вследствие этого, говорит Бек, филологическое познание составляет своеобразную аналогию к философскому познанию. Философия познает первично *γινώσκειν*, филология — сызнова, *ἀναγιν*

ἰσχεῖν, — «слово, которое в греческом языке не даром сохранило значение чтения, так как чтение есть отличительная филологическая деятельность, а склонность к чтению — первое выражение филологической склонности». Совсем кратко Бек определяет вторичное познание познанного как понимание. Все это дает ему право смотреть на филологию как на одно из необходимых условий культурной жизни, как на элемент, «первично заложенный в глубине человеческой природы и в цепи культуры». Филология, говорит он, покоится на одной из основных склонностей образованных народов; философствовать (*φιλοσοφεῖν*) может и необразованный народ, но не филологизировать (*φιλολογεῖν*).

Вот самое существенное в учении Бека о филологии*. Как видно из изложенного, в этом учении переплетаются две плохо между собой согласованные линии рассуждения. С одной стороны, Бек не отказывает филологии в значении науки, хотя сам же признает, что в этом отношении нельзя установить никакого различия между филологией и историей, понимаемой в широком смысле слова, а не только как история политическая. С другой стороны, Бек видит в филологии особый вид познания, и даже шире — особое отношение к действительности, а именно — умение видеть и воспринимать действительность только в осуществленных уже актах ее познания и восприятия. В соответствии с этим Бек делит филологию на две отдельные области: 1) филологию «формальную», которая содержит учение о методах «познания познанного», показывает, как это своеобразное познание, отождествляемое им, как сказано, с пониманием, достигается; и 2) филологию «материальную», представляющую собой совокупность реальных исторических сведений: ограничение этой области только историей греко-римского мира у Бека уже не имеет принципиального характера, как это было у Вольфа, и объясняется исключительно технически понимаемой необходимостью разделения обширной истории человечества на частные проблемы.

В этом совмещении двух разнородных проблем, в этом опыте понять «формальную» и «материальную» филологию как две части, два отдела чего-то целого, и заключается несомненная логическая ошибка Бека. Но в то же время большое преимущество учения Бека по сравнению с системой Вольфа заключает-

ся в том, что обе части филологии, «формальная» и «материальная», хотя бы и внутри единого целого, но все же разделены. Преимущество это состоит в том, что признание тождественности филологии как науки с историей не влечет за собой логически непризнания реальности филологии вообще, то есть того отрицательного в отношении филологии вывода, к которому неизбежно ведет система Вольфа, если продумать ее основания до конца.

Для того чтобы быть последовательным, Беку нужно было бы сказать, что никакой «материальной» филологии вообще не существует, потому что это то же самое, что история, потому что в этом смысле слово «филология» есть лишь затуманивающий сущность вещей и совершенно излишний синоним к слову «история». Если можно говорить о филологии как о чем-то отличном от истории, не совпадающем с ней, то только, действительно, как об особом способе видеть действительность, как о методе, и как раз в очень глубоком, содержательном определении и раскрытии этого метода и заключается историческая заслуга Бека, не до конца оцененная последующими поколениями.

Как указывает сам Бек, а также его биографы и ученики, в своем понимании филологии как метода он ближайшим образом отправлялся от идей Фридриха Шлейермахера (1768 — 1834), известного протестантского религиозного мыслителя, философа-романтика, но также и классического филолога, очень много сделавшего, в частности, в области изучения Платона¹. В ряде сочинений, посвященных теории филологического метода, в которых теперь, разумеется, многое очень устарело, но многое и сейчас сохраняет еще поучительность, Шлейермахер прямо говорит о филологии как об искусстве, и именно искусстве усваивать чужую мысль, искусстве понимать*. Не трудно видеть, что здесь устанавливалась таким образом известная преемственность с традициями александрийской филологии, но, разумеется, на соответственно более высоком уровне теоретической мысли. В краткой формуле

¹ Например, в одном месте своей «Энциклопедии» Бек говорит, что он сам не может отличить, что в его изложении принадлежит его собственной мысли, а что идет от Шлейермахера.

движение от александрийцев до времени Шлейермахера и Бёка можно охарактеризовать так: первоначальная филология александрийцев, захиревшая в средние века, но ожившая в эпоху Возрождения, породила из себя систему исторических наук, однако не растворилась в этих науках без остатка и сохранила свое самостоятельное существование в качестве того особого искусства читать и обрабатывать документы, каким она и была с самого начала.

Поставив на плодотворную почву учение о «формальной» филологии как методе, Бёк вместе с тем сумел отделить ее от изучения языка. Вопреки явно недостаточному учению Вольфа о языкознании как «органе» филологии, Бёк справедливо видит в изучении языка одну из задач не «формальной», а «материальной» филологии, в область которой оно входит наряду не только с изучением письменности, литературы, философии и науки, но также и с изучением памятников частного и общественного быта, памятников искусства, вообще вещей в широком смысле слова. Своей практической деятельностью Бёк, в частности, значительно стимулировал изучение именно последних, то есть не-языковых памятников античного мира¹. В обоих этих отношениях, то есть в отказе от взгляда на языкознание как только на «орган» филологии и в значительном расширении собственно исторического изучения не-словесной стороны античного предания, Бёк наталкивался на непонимание и даже просто враждебное отношение со стороны своих товарищей по специальности, классических филологов первой половины XIX в. В анналах классической филологии на долгое время осталась памятной ожесточенная полемика между Бёком и его школой, с одной стороны, и школой Готфрида Германна (1772 — 1848), изумительного знатока античных языков и литератур, всецело стоявшего на позициях старой филологической традиции, — с другой. Германн отрицал так называемую «материальную», или, как говорили также, «реальную» филологию*, и был прав, пока это отрицание не превращалось в отрицание исторической науки, истории языка, истории искусств и т.д. и не проявлялось в фактах, вроде приводимого

¹ Здесь особенно большое значение имела деятельность его друга и ученика Карла Готфрида Мюллера (1797 — 1840).

Узенером (см. § 6). Но, с полным основанием настаивая на том, что филология имеет дело лишь с критикой и истолкованием текстов, Германн в то же время оказался неспособен возвыситься до такого содержательного раскрытия самой идеи филологической работы над памятником, которое просвечивает в поучительных и талантливых размышлениях Бёка.

§ 9. Ф. Ф. ЗЕЛИНСКИЙ

В форме не до конца последовательной и ясной Бёку все же удалось показать, как может быть разграничена область собственно филологии от области научной истории. Однако задача заключается не только в том, чтобы размежевать обе эти области, но также выяснить их взаимные отношения. Филология и история — не тоже самое. Но ведь это еще не значит, что обе эти области вполне чужды одна другой. Наоборот, как мы хорошо знаем из повседневного научного быта и как будет выяснено в дальнейшем изложении, в практической научной работе эти области одна от другой неотделимы. В чем же заключаются их взаимоотношения? Один из наиболее ясных ответов на этот вопрос был дан выдающимся русско-польским филологом-классиком конца XIX столетия Ф. Ф. Зелинским.

Сущность воззрений Зелинского по данному предмету доступна нам по очень краткому, но чрезвычайно отчетливому ее изложению в статье «Филология», помещенной в 70 полутоме «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона*. По сравнению с Бёком изложение Зелинского имеет то неоспоримое и важное преимущество, что он рассматривает филологию и историю не как две части чего-то единого и цельного, а как две стороны, или два аспекта, одной и той же, как он выражается, «историко-филологической науки». Это не просто различие терминов, но также различие в самом понимании существа дела. То, что у Бёка приходится вычитывать, договаривая недосказанное за автора, Зелинский прямо формулирует от себя. Именно он отчетливо заявляет, что материально филологию

и историю разграничить невозможно, но что различие между ними — в методе исследования.

Историко-филологическую науку Зелинский понимает как такую, которая имеет своим содержанием «изучение творений человеческого духа в их последовательности, то есть в их развитии». Объект этой науки таков, что его нельзя изучать непосредственно, «лицом к лицу», — хотя бы уже потому, что он представляет собой прошлое¹. Его изучение возможно только потому, что он оставил известные следы — памятники, которые стоят между исследователем и его объектом и «обуславливают распадение историко-филологической науки на историю и филологию». «Чем ближе, — говорит Зелинский, — какой-нибудь ученый труд к памятникам, тем более носит он филологический характер; чем больше он удаляется от памятников и налегает на общие законы развития, тем более его характер будет историческим. Другими словами: филология — это обращенная к памятникам, история — обращенная к общим законам развития сторона историко-филологической науки; история и филология — не две различные науки, а два различных аспекта одной и той же области знания... Отсюда следует, что строгое отделение истории и филологии на практике невозможно: всякий филолог должен быть в известной части своего научного естества историком, и наоборот; иначе филологическая деятельность будет бесцельной, а историческая — беспочвенной».

Но что, собственно, означает эта установка на памятник, которая характеризует специфическим образом филологию? Она выясняется из анализа самого понятия памятника. Дело в том, что памятник, в том виде, как он нам дан непосредственно, как он сохранился и до нас дошел, не может еще служить источником исторического построения. Различая памятники географические (например, самая земля), этнологические (люди с их языком, обычаями, верованиями), археологические (постройки, утварь) и библиологические (письменность), Зе-

¹ Ниже увидим, что дело не только в специфике истории как науки, изучающей преимущественно прошлое (принципиально она может изучать и «текущее»), а в особой, опосредствованной данности исторического предмета.

линский говорит о них так: «Западное побережье Малой Азии значительно изменилось за двадцать веков, вследствие наносов ее рек, религия греков изменилась вследствие принятия христианства, данный барельеф или данная надпись сохранены в неполном виде, данное литературное произведение пострадало вследствие невежества или произвола переписчиков. Итак, требуется наука, которая научила бы нас парализовать влияние столетий, отделяющих нас от древнего мира; эта наука называется критикой». Так возникает и оформляется потребность обработки памятника, в которой то, что именуют филологической критикой, составляет один из важнейших моментов, но которая одной критикой еще не исчерпывается. Общий смысл подобной обработки памятника заключается в том, чтобы превратить его в подлинный источник для познания соответствующего исторического предмета.

Критика, рассуждает далее Зелинский, имеет своей целью «восстановить данный памятник в том виде, в каком он был в искомую эпоху». Но далее наступает необходимость данный памятник понять, и при том «понять всесторонне, так чтобы в нем не осталось ни одной невыясненной стороны». Эту задачу Зелинский возлагает на «аналитическую герменевтику», обычным выражением которой считает объяснительные издания авторов. После этого уже начинаются задачи собственно истории, для которой, как мы помним, памятник есть лишь след чего-то, в чем отразились общие закономерности развития. Но, говорит Зелинский, между филологией и историей существует «мост» в виде «синтетической герменевтики», которая отличается от «аналитической» тем, что она, во-первых, останавливается в данном памятнике не на всем, что в нем требует объяснения, а только на том что непосредственно интересует данную область исторической науки, а во-вторых, тем, что не ограничивается рамками данного памятника, а собирает однородные данные по многим памятникам — собирает все памятники, в каких рассчитывает найти материал для данной исторической науки.

Итак, памятник с помощью критики превращается в свод источников, который находит себе объяснение в аналитической герменевтике, а синтетической герменевтикой превращается уже непосредственно в материал

соответствующих исторических наук. Таков путь от филологии к истории в изображении Зелинского.

Нельзя не признать очень удачным предлагаемое Зелинским построение. Из него следует, что в центре внимания как филолога, так и историка стоит памятник. Но для первого памятник в его прямой данности и есть непосредственный объект работы, а для второго — это только исходный пункт исследования. Первый пользуется разнообразными данными, собираемыми им также, но не исключительно, у историков, для того чтобы «обработать» памятник, то есть восстановить его в подлинном виде и объяснить его — и это есть содержание «критики» и «аналитической герменевтики», по Зелинскому. Второй же, пользуясь результатами этой обработки, видит в памятнике не целое, не объект *sui generis*, а только вместилище потребных ему сведений, которыми он и распоряжается так, чтобы эти сведения могли служить материалом для исторического изложения и соответствующих научных выводов («синтетическая герменевтика» Зелинского). Так филология и история, действительно, оказываются двумя сторонами работы над памятником и в этом смысле практически неотделимы одна от другой.

Изложенное учение Зелинского нельзя признать достаточным только в одном отношении. Именно, оно не дает ясного и развернутого понятия о природе того, что представляет собой в самом своем существе та филологическая сторона работы над памятником, объем и границы которой намечены Зелинским в общих чертах правильно. Зелинский говорит об отдельных этапах или приемах этой работы как об отдельных научных дисциплинах, характеризуя их по их непосредственной практической задаче — критической или объяснительной. Но сущность этой работы требует более глубокого, принципиально-философского определения. В этом отношении гораздо ближе к делу несомненно оказывается традиция, видящая в филологии своеобразное «искусство понимания», традиция, которая, как мы видели, имеет очень древние корни и которая в новейшее время была поддержана школой Шлейермахера — Бёка и в дальнейшем горячо отстаивалась, например, Германом Узе-нером (1834 — 1905).

Судя по его равнодушно-скептическому отзыву о теории Бёка, Зелинский не считал эту традицию своей. Между тем именно она, разумеется, с надлежащим ее очищением от философских идеалистических предпосылок и всего того, что уже неприменимо к современным требованиям научности, должна быть положена в основу попыток дать ответ на вопрос, что же, собственно, представляет собой филология и какое специфическое содержание заключено в этом понятии.

§ 10. ОБЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЛОЛОГИИ

Со всей решительностью нужно установить прежде всего то положение, что филология не есть наука, точнее — что нет такой науки, которую в отличие от других можно было бы обозначить словом «филология» как ее названием. Эмпирическое содержание всего того, с чем имеет дело филология, без остатка покрывается предметом соответствующих специальных наук, исследующих отдельные стороны исторической действительности. Поиски специфического содержания для филологии на этом пути, как мы имеем право заключить на основании множества попыток этого рода с конца XVIII в. и до наших дней, абсолютно бесплодны и не могут привести ни к какому положительному результату.

Но действительность дана нам двояко — как природа и как культура: в первом случае — непосредственно, и тогда она постигается наблюдением и экспериментом; во втором — опосредствованно, в известных чувственных воплощениях, в той материи, которая, по слову Маркса, изначально «как проклятие» отягощает сознание, но которая сама по себе не есть еще самое сознание, а только чувственная оболочка, его овеществляющая и реализующая, — и в этом втором случае действительность постигается через расшифровку смысла этих чувственных примет, через их понимание. Эти чувственные воплощения, в которых нам дана культура, и есть то третье,

что стоит в данном случае между наукой и постигаемой ею действительностью.

Дело заключается вовсе не в том только, как говорят обычно и как повторяет и Зелинский, что история имеет дело с прошлым, то есть с тем, что недоступно непосредственному наблюдению. Ведь науки о природе также часто имеют дело с прошлым, — достаточно сослаться хотя бы на геологию или палеонтологию. Но геология или палеонтология восстанавливают прошлое по сохранившимся материальным остаткам этого прошлого, от которых и заключают к целому. Между тем изучение культуры даже и тогда, когда оно направлено на соответствующие явления современности, всегда и принципиально имеет дело не с самими этими явлениями в их прямой данности, а только с теми или иными опосредствующими их чувственными приметами, с тем, что в общем случае может быть названо сообщениями о них.

Это понятие сообщения следует толковать в самом широком и обширном смысле. Сообщение — это не только слово, документ, но также и различного рода вещи, которыми мы не просто практически пользуемся, но которые нам «говорят» о чем-нибудь, например, когда мы имеем дело с мебелью, помещаемой нами не в спальню или столовую, а в музей, так как она есть продукт известного художественного стиля, а отсюда — и известного общественного вкуса, миросозерцания и т. д. Мы, разумеется, и этого рода мебель можем взять в руки. Но ведь в руках у нас будет в этом случае находиться только кусок дерева, а не самый стиль его обработки и не его художественно-исторический смысл. Последний нельзя «взять в руки», его можно только понять, то есть извлечь своеобразным умственным актом из того сообщения, которым в данном случае и является так, а не иначе обработанный кусок дерева.

Другим примером может служить произведение живописи. Пейзаж или портрет — своего рода вещи, однако их бытие не исчерпывается только тем материалом, из которого эти вещи состоят: полотном, красками и т. д. Можно представить себе человека, превосходно различающего мельчайшие оттенки цвета и тем не менее не видящего в картине того, что в ней есть, то есть известного художественного образа. Этот образ только воплощен в том материале, который можно увидеть,

взять в руки и т. д., но он действительно дан только тому, кто умеет его постигнуть, то есть извлечь его из опосредствующей его материи. В этом смысле и картина есть особого рода «сообщение».

Однако самое универсальное, практически наиболее пригодное и жизненно наиболее ценное средство сообщения — это, конечно, человеческий язык, и прежде всего — в его письменной форме. Бóльшая практическая ценность письменного слова по сравнению с устным, именно в этом качестве сообщения, давно уже признана народной мудростью в латинской пословице *Scripta manent*, чему в точности соответствует более образно выраженный смысл русской пословицы «что написано пером, того не вырубить топором», тогда как к устному слову хорошо применима другая русская пословица: «Слово не воробей, вылетит — не поймаешь». Письменное слово (вообще всякий текст, то есть включая и устную речь, элементы которой устойчивы и закреплены традицией, повторяемы) — обозримо. Устная речь дана нам в самом процессе ее становления и понимать ее мы можем только пока она звучит. Если же мы стараемся понять ее путем припоминания услышанного и уже отзвучавшего, то мы ее, в сущности, уже записываем, то есть превращаем в текст. Но текст отличается тем свойством, что мы можем его перечитывать столько раз, сколько это требуется заданием, а потому его содержание способно быть понято с какой угодно степенью точности и глубины. Можно сказать, что письменный текст представляет собой идеальное сообщение, и вот почему о письменном слове иногда говорят как об «альфе и омеге всякого исторического исследования» (Узенер).

Разумеется, самая техника понимания письменного слова и сообщений другого рода будет различна. Но пока мы говорим только о принципах и стремимся к определениям общего характера, мы по только что высказанным соображениям можем пользоваться письменным словом как всеобщим образцом сообщения принять его в дальнейших рассуждениях в качестве сообщения как такового.

Если, таким образом, известные области действительности доступны нам не иначе, как через сообщения, то для того, чтобы данные области действительности могли стать предметом

научного исследования, очевидно, необходимо уметь извлекать их из соответствующих сообщений, иначе говоря — уметь видеть в сообщениях то, о чем они сообщают, уметь их читать, раз уж мы условились образцом сообщения принять письменное слово. Между тем мы не всегда отдаем себе полный отчет в том, что такое чтение. На той высокой ступени цивилизации, на которой находится современное образованное общество, чтение представляет собой нечто, настолько привычное и незаметное, настолько тесно сплетенное с ежеминутной повседневностью, что подлинное, чрезвычайно сложное содержание этого высшего умственного акта становится предметом размышления только в особых, исключительных случаях. Разумеется, практически не одно и то же пробегать рассеянным взором отдел спортивной хроники в только что полученном свежем выпуске вечерней газеты, вчитываться в волнующие строки любимого поэта или разбирать в лупу потускневшие от времени письма древней рукописи, да притом еще на каком-нибудь малоизвестном языке. Неоспоримо однако, что всякий акт чтения, как бы прост и доступен ни казался он вполне грамотному и образованному читателю, предполагает ту или иную выучку, сноровку, в общем случае — мастерство и искусство*.

В принципиальном смысле, следовательно, чтение есть не что иное, как особое искусство, и именно искусство извлекать содержание из соответствующего сообщения. Это искусство тем сложнее, чем богаче содержание сообщаемого и чем труднее техника анализа средств сообщения, а это в свою очередь зависит от характера материальной организации этих средств. Так, содержание газетной хроники или коммерческого объявления постигается легче и скорее, чем содержание поэтического образа или философской мысли. Но, с другой стороны, можно представить себе, что содержание философской мысли, изложенной на родном для читателя языке, может оказаться для него более доступным, чем коммерческое объявление на языке, ни грамматика, ни графика которого читателю неизвестны. Так или иначе, но нет сомнений, что чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, знакомый с тех-

ников чтения не одного, а разных видов сообщений, притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначить в этом случае словом «филология».

Что такое название не произвольно, свидетельствует вся история филологической традиции, и в особенности история того конфликта, в который эта традиция вступила в XVIII — XIX вв. с исторической наукой и ее отдельными областями. В древности умение извлекать данные из памятников и исследование того, что таким путем из памятников извлекалось, не было расчленено, составляя недифференцированное содержание общей «учености», «начитанности», «осведомленности» книжного характера. К нашему времени круг человеческих знаний стал настолько многообразен и внутренне богат, что приобрел форму множества отдельных, самостоятельных специальных наук. От прежнего филологического энциклопедизма, однако, осталось то, что когда-то связывало все эти области знания в их зачаточном состоянии в одно целое, именно самый способ узнавать. По праву за ним должно быть оставлено имя, принадлежавшее ранее всему нерасчлененному целому.

Но дело, понятно, не в том, как назвать соответствующую деятельность, а в том, чтобы увидеть, что такая деятельность есть и проникнуть в ее подлинную сущность. Для этого необходимы некоторые дополнительные разъяснения.

Когда мы говорим о чтении, об умении извлекать содержание из сообщения как об искусстве, то это может вызвать сомнения относительно сопоставимости данного рода деятельности с обычным представлением о таких искусствах, как музыка, поэзия, живопись и т. д. В самом деле, та деятельность, какую обычно мы имеем в виду, когда говорим об искусстве, результатом имеет создание художественных произведений. Ясно, что постулируемое здесь филологическое искусство никаких художественных произведений не создает и не в этом имеет свою цель. Есть, однако, и другого рода искусство, которое находит свое выражение не в создании новых художественных ценностей, а в осуществлении некоторых практических

целей при помощи не одних только положительных знаний и технической выучки, но также творческой фантазии и интуиции. Это искусство того рода, которое возникает при благоприятных условиях из ремесла, одушевляемого творческим воображением. Оно нередко встречается в технике, хирургии, вообще в тех областях, в которых при известных условиях — а одним из них должно быть присутствие соответствующей специфической одаренности — проявляется умение и мастерство в высшем смысле этих понятий. В обыденном языке мы называем такое выполнение соответствующей задачи артистическим. Такое умение само по себе производит эстетическое впечатление, хотя бы и не выражалось в создании положительных эстетических ценностей, и именно в этом смысле может быть названо искусством, художественным явлением *sui generis*.

Разумеется, филологическая деятельность вовсе не в каждом своем отдельном акте достигает того совершенства, о котором здесь идет речь. В общем случае на нее приходится смотреть как на достижение одной из посредствующих ступеней в той лестнице, которая ведет от простого ремесла, находящегося в ее основании, до подлинного искусства в выше означенном смысле, находящегося в ее вершине. Но пока речь идет об основных принципах, необходимо помнить, что таков во всяком случае идеал филологической работы. В идеале филологическое ремесло становится искусством.

Непосвященные нередко называют филологов «буквоедами», «гробокопателями» и сходными другими нелестными именами и, надо сказать, иной раз вполне справедливо. Это бывает справедливо в применении к таким филологам, для которых буква есть буква и ничего сверх этого. Со всей возможной тщательностью и аккуратностью они переписывают или воспроизводят в печати изучаемые ими рукописи и составляют сводки из чужих комментариев, причем нередко приносят этим сильную канцелярскую помощь науке, но смысл сообщаемого в рукописи остается ими совершенно неразгаданным и полностью сливается с внешней формой самого по себе сообщения. Это не подлинники филологи, не мастера, а подмастерья. Однако история филологической практики знает не мало примеров совершенно иного рода, и именно примеров такого умения чи-

тать буквы, что эти буквы наполняются живым и трепетным человеческим содержанием и обнаруживают за собой бездны мысли и чувства. Это примеры виртуозного применения техники чтения к расшифровке внешних форм сообщения, примеры конгениального проникновения в содержание сообщаемого, которое в этих случаях возникает перед взором читателя так, как если бы оно было вновь, еще раз создано вторично осуществившейся творческой волей. Такое умение увидеть живой дух за мертвой буквой и имел в виду Бек, когда говорил о «познании познанного», и именно оно составляет высшую цель филолога. И эта-то цель и в самом деле представляет собой одно из врожденных и вечных стремлений человека, на определенной ступени культурного развития проникающегося жадным желанием узнать, пережить, продумать, прочувствовать то, что узнано, пережито, продумано, прочувствовано другими до него. В этом смысле нельзя не признать очень метким афоризм Узенера: «Филология так же вечна, как вечен интерес человека к человеку».

Из чего складывается очерченное здесь общим образом филологическое искусство и как оно осуществляется в практическом смысле — об этом говорится во второй части этой книги*. Раньше чем заняться этими вопросами, нужно досказать то, что остается еще не досказанным относительно связи, какая существует между филологическим искусством и теми науками, какие нуждаются в его применении.

§ 11. ФИЛОЛОГИЯ И ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Все существенное на эту тему сказано уже в § 9, при изложении схемы Зелинского. Остается применить сказанное там к полученному нами общему определению филологии и более конкретно представить себе взаимоотношения филологии и истории в практической научной работе.

Нетрудно видеть, что к области филологического искусства, как оно определено в § 10, относятся те дисциплины, которые у Зелинского названы «критикой» и «аналитической герменевтикой». Первая имеет целью восстановить памятник (то есть «сообщение») в том виде, каким он обладал в момент своего появления, вторая — объяснить его исчерпывающим образом. Теперь нет уже более надобности доказывать, что ни та, ни другая деятельность не могут быть квалифицированы в прямом смысле как науки, и что это только приемы, посредством которых из памятника извлекается заключенное в нем содержание. Но обратим внимание на чрезвычайно важное для нашей цели различие, которое устанавливается у Зелинского между «аналитической» и «синтетической герменевтикой» (термины эти нельзя признать вполне понятными и удачными). «Аналитическая герменевтика», говорит Зелинский, объясняет памятник всесторонне, а синтетическая — односторонне, но зато соединяет полученные результаты с результатами именно такого же одностороннего изучения других памятников. Здесь заключена очень ценная мысль, которая нуждается в некотором развитии для того, чтобы подлинный смысл отношений между филологией и историей предстал в более отчетливом виде.

В самом деле, то, что можно назвать в общем смысле «памятником», или «сообщением», в принципиальном отношении всегда заключает в себе содержание разнородного характера. Так, например, какой-нибудь древний документ юридического содержания при всей простоте последнего, то есть при полной, казалось бы, принадлежности его к истории правовых отношений, все же сверх того непременно представляет собой еще и памятник языка, то есть своего рода сообщение о том, каким был язык во время составления документа. Таким образом, по меньшей мере две научные специальности — история права и история языка — могут законно претендовать на данный документ как на свой материал. Без особых пояснений понятно, что, чем сложнее по содержанию и форме памятник, тем большее число «сообщений», относящихся к разным областям, в нем заключено. Так, например, литературное произведение вроде какого-нибудь из больших романов Достоевского служит одновременно и памятником истории русского

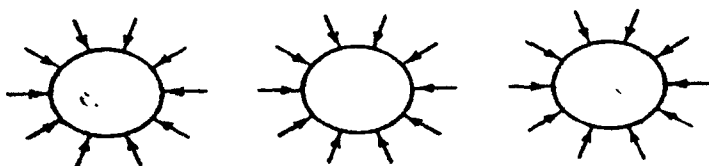
языка, и памятником русского литературного искусства, и памятником истории общественной мысли и философских идей, и памятником из истории быта и т. д. Трудно сказать, кто из историков разнообразных сторон русской культуры «не имеет права» пользоваться материалом романов Достоевского или, придавая той же мысли более острое выражение, имеет право не знать Достоевского. Отсюда возникает как будто впечатление, что «древняя грамота», «Достоевский», вообще всякий памятник, всякое сообщение есть сразу материал целого круга разнообразных наук, своеобразная *res omnium*.

Но в том-то и дело, что, несмотря на сказанное, всякий памятник одновременно сохраняет свое значение и как нечто целое, и именно как предмет филологии*. Отдельные специальные науки берут в каждом данном памятнике только ту часть заключенного в нем содержания, какая им непосредственно нужна для того, чтобы далее исследовать соответствующее содержание памятника в свете закономерностей, составляющих предмет именно данной науки. Но филология не «исследует», а только «читает». Для нее памятник существует как первоначально заданное целое, в котором можно различить разнородные содержания, относящиеся к отдельным специальным наукам, только после того, как оно будет прочтено именно как целое. Именно на этом и основана та служебная роль филологии по отношению к отдельным историческим наукам, с точки зрения которой ее часто оценивают и о которой у нас шла речь в § 3. Действительно, филолог как бы prepares памятник для употребления его в специальном научном исследовании, выступает, по другому меткому слову Узенера, как «пионер истории», просто «читает» памятник для того, чтобы определить, что в нем есть. Поэтому его предметом действительно являются древняя грамота как целое, как она есть, Достоевский, как он есть и т. д. Но историк права пользуется историко-правовым содержанием данной грамоты в сопоставлении с историко-правовым содержанием многочисленных других памятников разнообразнейшего характера, историк русских общественных настроений пользуется соответствующим содержанием данного романа Достоевского в сопоставлении с такого же рода содержанием не только других романов того же автора и других беллетристов, но и множества

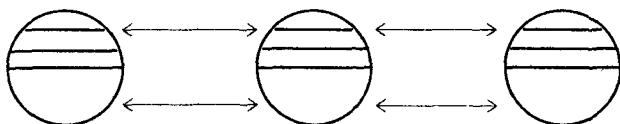
других документов, вовсе, может быть, не относящихся к сфере художественной литературы и даже к письменности вообще, и т. д.

Таким образом, возникает цепь отношений между филологией и отдельными историческими науками, которую можно наглядно представить в графической схеме (рис. 1 и 2).

I. Филологическое изучение памятников.



II. Историческое изучение памятников.



В первом из изображенных здесь двух рядов кружком обозначен памятник, а направленными в его сторону стрелками — тот круг разнообразных сведений, которые потребны филологу, чтобы прочесть, то есть всесторонне объяснить памятник и выделить в нем соответствующие содержания («аналитическая герменевтика» Зелинского). Во втором ряду различно заштрихованные части кружков означают разные области действительности, о которых содержит сообщения памятник, а знаком лиги — объединение данных по одной и той же области действительности, заключенных в разных памятниках и лежащих в основу собственно исторического исследования («синтетическая герменевтика» Зелинского).

Необходимо теперь обратить внимание на те стрелки, которые показаны направленными в сторону памятника в первом из этих изображений. Как сказано, ими символизируется круг разнообразных сведений, необходимых филологу для того, чтобы он мог прочесть памятник и выполнить по отношению к нему свой филологический долг. Это требует некоторых дополнительных разъяснений.

Сказанное имеет тот ближайший смысл, что невозможно филологически прочесть памятник без всякого предварительного опыта. Для того чтобы понять, что сказано в данном памятнике, необходимы наперед собранные сведения, точный объем которых вообще не поддается предварительно определению и в каждом данном случае зависит от содержания именно этого памятника. Прежде всего, разумеется, надо владеть соответствующей техникой выражения, в общем случае, следовательно, — знать язык. Но знать язык это значит не только знать его грамматическую систему и уметь находить формальные связи между словами или внутри слов с производными основами, но также и понимать все бесчисленные «случайности» в индивидуальной нюансировке выражения, которые остаются за или над границами собственно системы языка, а между тем имеют первостепенное значение в актах живого общения через слово. Но ведь нужно знать также, что такое каждый из предметов действительности, называемых лексическими средствами языка, точно так же, как надо, например, знать, что представляет собой каждый из предметов, изображенных на какой-нибудь картине, для того чтобы действительно по-настоящему увидеть, понять ее. А так как рассказать словами или изобразить на картине можно действительно все, то и получается, что филолог должен уже наперед знать все в исчерпывающем смысле этого коротенького слова, для того чтобы понять или объяснить¹ свой памятник. Но ведь эмпирически это явным образом невозможно!

Именно в этом пункте и завязывается та интимная связь и нерасторжимая творческая дружба между историком и филологом, которая вырастает на почве их абсолютной взаимной необходимости друг для друга. Если нельзя знать все сразу, то ясно, по крайней мере, что чем больше знает филолог, тем лучше. Но если он встречается с чем-нибудь неизвестным, в простейшем случае — с каким-нибудь неизвестным ему до того словом, термином, то, очевидно, ему не остается ничего иного, как обратиться на время в исследователя — лингвиста, ар-

¹ «Понять» и «объяснить» — это, в сущности, то же самое: нельзя думать, что ты «понимаешь» нечто, если ты не можешь рассказать другим, что именно ты понимаешь.

хеолога, юриста, медика и т. д., для того чтобы исследовательским путем установить, поскольку это еще не установлено, что представляет собой соответствующим образом названный, но неизвестный предмет действительности. Отсюда ясно, что филологу сплошь да рядом приходится, не ограничиваясь своей прямой обязанностью читать памятник, именно для того, чтобы лучше выполнить свою обязанность, расширять свой читательский опыт путем самостоятельных научных разысканий, не говоря уже, разумеется, о том, что уже достигнутые результаты в области различных специальных наук постоянно должны быть у него в распоряжении. Препарируя свойственными ей приемами памятник, филология как бы подает материал для наук, исследующих действительность в ее различных сторонах. И обратно, для того чтобы эта подача материала шла налаженно и без помех, науки о действительности постоянно помогают филологии обогащать тот опыт, с каким она приступает к делу. Филолог, как пчела, собирает мед знаний отовсюду, он энциклопедист изначально, по самой своей природе, потому что идет от действительности к памятнику, который как целое составляет его прямой объект. И уже после этого становится возможным обратный путь — от памятника к действительности, которым идут исторические науки.

Таким образом, отношения филологии к историческим наукам — это отношения диалектические: противоречия, возникающие на почве одной, разрешаются на почве других, и обратно. В этом вечном кругообороте и совершается описываемый здесь историко-филологический процесс.

Если принять во внимание указанные особенности этого процесса, то легко объяснить себе и то подлинное, что, несмотря на высказанные выше критические сомнения в возможности так называемых филологических энциклопедий, все же в них в известном смысле заложено. Такие энциклопедии не представляют собой отдельных наук, подлинных систем знания, и это остается бесспорным. И тем не менее существует реальная необходимость в том, чтобы был сосредоточен в одних руках, в одном месте опыт, отлагающийся в результате занятий разнообразными по содержанию памятниками одного исторически-национального цикла. Существует, например, обширный цикл памятников на славянских языках, вообще —

относящихся к славянам. Это могут быть памятники различные — юридические, литературные, этнографические и т. д., — и в этом смысле они принадлежат различным наукам. Но, как мы уже знаем, есть еще необходимость «читать» эти памятники и тем готовить их для нужд их исторического изучения. Очевидно, что если что-либо может быть названо «славянской филологией» в качестве обособленной деятельности и отдельной научной специальности, то именно владение тем опытом, при помощи которого читаются вообще памятники, относящиеся к славянству.

Сказанное можно применить, например, и к часто возникающему вопросу о возможности и законности таких историко-литературных специальностей, как «пушкиноведение», «тургеневедение» и т. п. занятий, посвященных изучению жизни и творчества одного отдельного писателя. Не раз говорилось о том, что претенциозное выражение «наука о Пушкине» методологически неприемлемо, потому что сюда входит целая цепь наук: биография, психология, стиховедение, лингвистика, поэтика и т. д. И тем не менее, совершенно понятно, почему существуют и не могут не существовать «пушкинисты». Это, очевидно, лица, которые прямым своим объектом имеют не что иное как самые памятники жизни и творчества Пушкина, лица, специализировавшиеся на искусстве читать эти памятники и конденсирующие необходимый для этого опыт. Здесь в малом масштабе повторяются общие отношения между филологией и историческими науками, причем «пушкинисты» в данном случае находятся в положении именно филологов.

Разумеется, здесь все время идет речь не столько об ученых, то есть о людях, сколько о проблемах. Практически же «чистые» филологи, как и «чистые пушкинисты», которые, занимались бы только памятниками и не принимали бы никакого личного участия в той или иной специальной научной области, встречаются очень редко, не говоря уже о том, что нет вообще филологов, которые умели бы с одинаковым успехом филологически обрабатывать памятники любого содержания. Но и обратно, почти не бывает «чистых» историков, то есть — которые не умели бы, в известных пределах, обслужить себя со стороны филологических потребностей, как об этом говори-

лось уже в § 3, а если такие историки и бывают, то это, несомненно, историки плохие. Так как памятники по преимущественному своему содержанию очень различны, то простые соображения удобства приводят к тому, что соответствующими памятниками филологически занимаются представители тех специальных знаний, с которыми по своему содержанию эти памятники связаны теснее всего. Ошибочно думать поэтому, будто филологи — это только языковеды или литературоведы. Литература, действительно, по своему всеобъемлющему культурно-историческому значению, по глубине и богатству синтезированного в ней содержания, стоит в центре внимания филологии, и вряд ли есть историк какой бы то ни было области действительности, который мог бы обойтись в своих исследованиях без данных, доставляемых литературой в широком смысле этого термина. Однако в принципиальном отношении историк литературы не больше филолог, чем историк медицины или историк математики. Ведь и последние пишут свои истории по документам, основываясь на сообщениях, которые, следовательно, они должны же уметь читать! Вот почему прав был Бёк, когда говорил, что писать о животных так, как писал Бюффон, — это не обязанность филолога, но понимать сочинения Бюффона филолог должен уметь. Пусть этим не занимается филолог «вообще», «чистый» филолог, каких и не бывает на деле. Но если толкованием Бюффона занимается специалист по зоологии, разрабатывающий историю своей науки, то в этот, по крайней мере, момент, он настоящий филолог¹.

В конце концов приходим к выводу, что филолог — это всякий, кто имеет дело с «сообщениями», содержащими сведения о какой-нибудь, все равно какой, области действительности, иными средствами непознаваемой.

Именно на этом свойстве филологии основывается и ее громадное педагогическое значение. Во-первых, она воспитывает любовь к самой материи, из которой состоит сообщение, прежде всего — к языку, пробуждает благородную страсть к

¹ Прекрасный пример талантливой и подлинно филологической работы по истории не-гуманитарных знаний — недавно появившаяся книга проф. В. Я. Кагана: Лобачевский. М.—Л., 1944.

книге, к рукописи, к первоисточникам, учит уважать памятники как таковые. Пусть коллекционерство памятников принимает порой форму библиомании и становится иногда смешным или даже уродливым социальным явлением, сама по себе идея, заключенная в горячей любви и уважении к «сообщениям» в их различных материальных воплощениях, не теряет от этого своей значительности. Но еще важнее, что филология учит читать с расчетом на исчерпывающее усвоение содержания, читать так, чтобы не оставалась в тексте не понятой ни одна буква, ни одна мельчайшая подробность изложения. Филология велит знать и понимать все, и в этом ее великое значение в истории человеческой культуры¹.

¹ Были и есть ученые, считающие, что именно педагогическая задача и составляет сущность филологии. Так, например, французский филолог-классик Макс Бонне учил, что классическая филология представляет собой сводку разнообразных сведений о греко-римской культуре, предназначенную для обучения и воспитания юношества (см. его книгу: *Bonnet M. La philologie classique*. 1892).

§ 12. ФИЛОЛОГИЯ КАК «МОМЕНТ» В НАУЧНОЙ РАБОТЕ

Из всего сказанного ясно, что из числа ходовых определений филологии, изложенных в начале этой книги, ближе всего к тому определению, которое здесь изложено как истинное, то, о котором шла речь в § 3, однако с той существенной разницей, что «обработка текста» понимается нами не как вспомогательное ремесло, находящееся в услужении у науки, а как подлинное творчество, находящееся в сложных диалектических взаимоотношениях с научной работой. Тем не менее нельзя отрицать того, что филология не имеет цели в самой себе и всегда связана с наукой¹. Эта связь в практической научной работе может обнаруживаться в разных формах и в разной степени, так что филология становится то более, то менее заметным и значительным моментом в историческом исследовании. На этой стороне дела необходимо несколько задержаться.

Прежде всего разные ученые в разной мере обладают филологическими склонностями от природы. Таким образом, например, историк медицины с сильными филологическими склонностями, во-первых, не побоится заняться таким вопросом, разработка которого связана с чисто филологическими трудностями в виде чтения старинных трактатов по медицине на античных языках или по-арабски, раздобывания новых рукописных источников в малодоступных хранилищах и т. д., а во-вторых, будет стремиться сделать необходимую ему филологическую работу сам для себя. Наоборот, тот историк медицины, который, хотя и занимается историей, но не чувствует в себе подлинного филологического призвания, будет скорее заниматься такими вопросами, для разработки которых не нужно читать старые рукописи и не нужно знать трудных языков,

¹ Связь филологии и педагогики не противоречит этому, так как и для педагогических целей филология нуждается в постоянном общении с наукой.

а если и нужно, то все это можно возложить на какого-нибудь стороннего специалиста-помощника. Вообще такой ученый естественно будет тяготеть к проблемам, филологическая сторона которых хотя и требует соответствующих операций над источниками — без этого вообще не может быть никакой истории, — но операций по возможности легких, примитивных.

Этот воображаемый пример показывает, что в каждой области исторического знания есть проблемы большей и меньшей филологической сложности. Легко представить себе, что история средних веков требует гораздо более сложной филологической работы, чем история империалистической войны XX в., и не потому, что средневековая жизнь была сложнее, чем то, что переживалось современниками империалистической войны, — в действительности дело обстоит как раз наоборот, — а потому, что памятники средневековья нам труднее читать и доставать, чем памятники названной войны. Поэтому историку-медиевисту в большей степени необходима филологическая выучка, то мастерство чтения и понимания, о котором шла речь выше, чем историку, изучающему военную историю XX в. Можно сказать, что в работах первого филологический «момент» сильнее, чем в работах второго. А отсюда и в общезнании мы скорее назовем филологом специалиста по средневековой истории, чем специалиста по истории XX в.

Разумеется, есть такие области исторического знания, в которых филологический «момент» еще сильнее, чем в истории средневековых политических или культурных отношений. Здесь нет надобности перечислять все возможные степени силы исследуемого нами филологического «момента» в разных отраслях исторического знания. Но важно усвоить себе, что действительно в каждой из этих отраслей могут быть отдельные проблемы, темы, разделы, отличающиеся взаимно разной степенью потребного для них филологического усилия. Так, например, историк древнерусской литературы в большей степени филолог, чем исследователь современной русской литературы (хотя в принципиальном смысле и последний, разумеется, остается филологом!), русский исследователь даже современной персидской литературы больше филолог, чем русский же исследователь русской или немецкой литературы XVIII в., русский лингвист, изучающий древнерусский язык, в

большей мере филолог, чем русский лингвист, изучающий современный французский язык, и т.д. до бесконечности. Все здесь зависит, как мы видим, от характера потребных для дела памятников, «сообщений», но также — и этого не следует забывать — от личных склонностей, потому что иной раз менее «филологичная» по существу тема может оказаться более «филологично» обработанной, чем вполне «филологичная» тема, попавшая в руки ученому со слабой филологической выучкой или без надлежащего вкуса к филологическому мастерству. На рубеже XIX — XX вв. в России действовали два великих лингвиста — Фортунатов и Бодуэн де Куртенэ, но в силу личных интересов, первый был в гораздо большей мере филолог, чем второй, хотя оба они уступали в данном отношении место А. И. Соболевскому, замечательному ученому, но лингвисту во всяком случае гораздо менее значительному, чем первые двое. Таким образом, независимо от места, принадлежащего данному ученому в своей специальной области, в его общественно-историческую репутацию вплетается еще особый оттенок, состоящий в указании на то или иное его отношение к филологическому искусству.

Но это только одна сторона затронутого здесь вопроса. Разная степень силы филологического «момента» может быть обусловлена еще и способом трактовки того объекта, который избран для исследования, и именно — большей или меньшей степенью его изолирования от других, смежных областей действительности.

Филология, как мы видели, по самой своей природе отличается стремлением к универсализму и энциклопедизму. С другой стороны, как это хорошо известно, отдельные области культуры не только тесно связаны взаимными отношениями в своем конкретном историческом бытии, но в известном смысле могут даже трактоваться как нечто цельное. В интересах науки необходимо, по возможности, исследовать отдельные области культуры — язык, искусство, литературу, науку и т. д., — в выделенном виде, чтобы можно было установить специфические признаки каждой и не смешивать различное в нерасчлененном общем. Это, однако, не должно отнимать у исследователя памяти о том, что между изолируемыми таким образом областями культурной действительности существуют

очень сложные взаимоотношения, постоянно сказывающиеся на фактической истории каждой из таких областей. Ясно, например, что история языка в значительной мере определяет историю литературы, как и наоборот, история литературы отлагается своеобразными явлениями в истории языка. И вот большая или меньшая степень внимания к этим внутренним отношениям между разными областями культуры при исследовании каждой из них и будет определять большую или меньшую силу филологического «момента» в соответствующей научной работе, то есть в большей или меньшей степени будет отвечать духу филологического энциклопедизма и взгляду на культуру как на нечто целое. Так, историк языка, акцентирующий в своей работе связь истории языка и истории литературы, будет в большей мере выступать как филолог, чем такой историк языка, в работе которого соответствующие моменты отступают на задний план, приглушены. И наоборот, историк литературы, обращающий большое внимание на связь успехов литературы с выработкой литературного языка, будет скорее назван нами филологом, чем такой историк литературы, в работе которого лингвистический фон литературного развития будет недостаточно отчетлив.

Также и этого рода примеры могут приводиться во множестве. Полезнее, однако, остановиться на каком-нибудь одном типическом и разобрать его подробнее. Пусть таким примером послужит нам принципиально важный вопрос о филологическом «моменте» в языковедении.

§ 13. ФИЛОЛОГИЯ И ЯЗЫКОВЕДЕНИЕ

Отношения филологии и языковедения отличаются большой сложностью и многое в них не разъяснено с должной отчетливостью. Попытаемся внести некоторую ясность в этот вопрос, подойдя к нему исторически.

Современное научное языковедение — отрасль знания очень молодая, сложившаяся вполне только в начале XIX в. Но корни этой науки очень старые. Один из старинных источников этой науки, источник вполне практический, ясен уже из того, что сказано было до сих пор: это — потребность хорошо знать и анализировать язык сохранившихся памятников письменности, хотя бы сначала просто для того, чтобы сделать эти памятники пригодными для элементарного пользования. По мере усложнения филологических проблем, возникавших по отношению к памятникам, усложнялись и задачи изучения текста со стороны языка. На этой почве стали возникать различные грамматические и стилистические теории¹ как известное обобщение накопившихся эмпирически наблюдений.

Однако у этих теорий был и другой исходный пункт, именно — античная философия, которая не могла в свое время не поставить в ряду прочих своих основных вопросов также вопроса о природе языка и об отношении его к мысли, как мы находим это уже у Платона и Аристотеля, затем у стоиков и т. д. Вопросы философии языка и собственно грамматической теории, понятно, не могли разрабатываться разобщенно. Общий вопрос о том, что такое язык и каковы его основные законы, с одной стороны, и потребность хорошо знать языковые приметы текстов в их сходствах и различиях, с другой, составили уже ко времени александрийцев почву того, что может быть названо зародышем будущей науки о языке. Как раз ко времени расцвета александрийской филологии относится из-

¹ Полезным введением в их изучение может служить книга: Античные теории языка и стиля. Под общ. ред. О. Фрейденберг. Л., 1936*.

вестная полемика между «аналогистами» и «аномалистами», из которых первые во главе с александрийцем Аристархом считали развитие языка процессом законосообразным, а вторые, например пергамская школа, полагали, что изменения в языке имеют своим источником случайность, ошибки.

Таким образом, изучение вопросов языка, не выходя из пределов общей филологической образованности, как она охарактеризована в § 5, уже и у древних в известной мере могло служить предметом самостоятельного и независимого интереса.

Тем не менее филологическое изучение языка (см. § 2), то есть умение устанавливать известные связи между языком данного текста и прочими его общими и частными свойствами, в течение очень долгого времени было направляющим, независимо и от того, что мало-помалу становилась известной письменность и на других языках, кроме греческого и латинского. Но подлинный переворот в языкознании был вызван открытием санскрита в конце XVIII в. и установлением генеалогической связи между индоевропейскими языками в трудах Раска, Боппа и др. Оказалось, что греческий и латинский языки — это, в сущности, лишь два отдельные острова в громадном архипелаге индоевропейского языкового мира, притом значительно уступающие санскриту по своему значению для целей реконструкции индоевропейского языка, которая стала основной целью новой науки. В настоящее время лингвистика уже очень далеко отошла от этого наивного взгляда на свои задачи¹, но независимо от своего дальнейшего развития, найдя свою особую цель, языковедение стало действительно самостоятельной наукой, ставящей свои собственные проблемы и создающей собственные методы изучения языков в их истории.

Представителями классической филологии новое направление в изучении языка, так называемое сравнительное языко-

¹ Замечательный русский ученый Н. В. Крушевский уже в 1881 г. (в книге «К вопросу о гуне», с. 3) с поразительной смелостью и ясностью мысли заявлял, что восстановление праязыка «не может называться наукой»*, а может быть лишь одним из результатов науки между прочим. Это мнение и вообще было одним из лозунгов так называемой «младограмматической» школы.

ведение¹, было встречено большей частью или враждебно, или с недоумением. Однако с течением времени и классики принуждены были принять участие в новом научном движении² своими, уже собственно лингвистическими трудами по греческому и латинскому языкам. Все же традиционные филологические занятия по языку и стилю отдельных авторов, жанров письменности и т.п. от этого не прекратились и практическая потребность в таких занятиях не перестала существовать. Игнорирование этой стороны дела было серьезной ошибкой представителей победившего сравнительного языковедения.

Их стремление резко оттолкнуться от старинной филологической традиции изучения языка, совершенно с ней порвать, было вполне естественно, так как эта традиция мешала новой науке завоевать самостоятельное положение. Таков в истории русской науки был, например, несколько задорный антифилологизм Бодуэна де Куртенэ и его учеников. Но новая наука появилась не вместо старой, а именно как нечто вполне новое, и осуществлению ее задач традиционная филология в принципиальном отношении нисколько не препятствовала. Как уже выяснено, филология не есть и никогда не была наукой в собственном смысле этого слова, хотя в ее задачи и входит известное применение научных данных. Поэтому при беспристрастном взгляде на дело, она может быть только заинтересована в дальнейшей, безостановочной дифференциации наук и сама постоянно содействует этому своими запросами. Так, и успехи сравнительного языковедения были с большой пользой применены к делу в продолжавшейся и после победы этого направления филологической работе над текстами. Но теперь мы убеждаемся, что научное языковедение в свое время не взяло всего того у филологов, что могло бы взять.

¹ В английской научной традиции, как терминологический пережиток, лингвистика до сих пор порой именуется «сравнительная филология» (comparative philology).

² Лингвистика здесь многим была обязана Г. Курциусу (1820 — 1885), который одним из первых представителей классической филологии признал сравнительное языковедение и дал основополагающие образцы собственно лингвистической работы по греческому языку (ср. его речь «Philologie und Sprachwissenschaft», 1861).

В самом деле, как уже было сказано (см. § 2), язык можно и должно изучать не только вообще, строго грамматически, но также и в конкретных условиях его исторического бытия и развития. А как только ставится этот вопрос о конкретных исторических условиях жизни языка, так непременно возникает и вопрос о связи языка с ближайшими к нему областями культуры. Язык тогда предстает взору исследователя уже не только как известная система звуковых единств, обслуживающая потребности мышления и социального общения, в каком качестве он составляет предмет грамматики, этой лингвистической дисциплины *par excellence*, а как та или иная совокупность речевых актов, то есть практических применений данной системы, возникающих в определенной человеческой среде, в определенное время, ради конкретных практических интересов — бытовых, литературных, художественных и т. д. Возникает необходимость изучать язык в его функциональных разновидностях, определяемых разновидностями человеческого общения, и в конкретных культурно-исторических условиях его роста и развития. Между тем именно филологическая традиция, издавна привыкшая к комплексному изучению культурных явлений, поскольку она имела дело не с языком, поэзией или историей, взятыми порознь, а с памятником как таковым, сохранила до наших дней умение смотреть на язык как на член более широкого и сложного культурного целого, умение, полемически отстранявшееся на задний план основоположниками сравнительного языковедения и в значительной мере забытое их учениками.

Как же разрешается в конечном итоге конфликт между этим филологическим и собственно лингвистическим воззрением на задачи изучения языка?

По-видимому, ответ на этот вопрос должен состоять в следующем:

1. В той мере, в какой филологическая обработка текста остается делом совершенно реальным и насущно необходимым, она неизбежно включает в круг своего ведения также и вопросы языка, и даже начинает с них как с первого, что дает ей возможность «подступиться» к памятнику. Здесь филология не может не опираться на опыт и выводы научного языковедения, и в этом отношении филологи — ученики лингвистов.

2. Независимо от интересов филологической обработки текстов существует само по себе научное языковедение, изучающее язык как явление действительности *sui generis*. Нередко спорили о том, что такое язык — явление культуры или природы. Для нас нет сомнений в том, что правилен только первый из этих ответов, однако откуда мог возникнуть второй? Дело объясняется той своеобразной особенностью языка по сравнению с прочими явлениями культуры, что, представляя сам собой продукт культуры, он в то же время служит универсальным «сообщением», воплощением для целого ряда других продуктов культуры — литературы, поэзии, науки и всего остального, что находит себе вообще выражение в языке и письменности. Таким образом, для того, кто исследует, например, философскую мысль, воплощенную в слове, язык представляется своеобразной материальной средой, через которую исследователь проникает к своему предмету, подобно тому, как искусствовед пролагает себе путь к живописному образу через физические свойства красок.

Есть и другие причины, которые побуждали относиться к языку как явлению природы и порождали так называемое натуралистическое направление в изучении языка, но на них нет нужды здесь останавливаться. Сказанного достаточно, чтобы понять, что также и язык дан нам не прямо, а опосредствованно и что, следовательно, мы его также понимаем и читаем — в том смысле, в каком здесь все время употребляется этот термин, он применим, понятно, и к усвоению звучащей речи. В повседневной речи этот процесс «чтения» языковых «сообщений» совершается автоматически и подлинной филологии здесь, разумеется, еще нет, хотя принципиальные условия для нее даны уже и здесь, именно: сообщение и понимание. Но, поскольку мы имеем сейчас дело с наукой, явно, что научное языковедение и его представители, хотя бы этого или нет, неизбежно совершают филологический акт, когда приступают к исследованию своего материала — иначе его у них не было бы. С полной практической очевидностью это ясно еще и потому, что даже и живая звучащая речь всегда изучается по тем или иным записям, хотя бы сделанным фонетическим письмом, то есть все-таки по текстам. Это, правда, не касается экспериментальной фонетики, изучающей физиоло-

гию и акустику звуков речи при помощи разных приборов, но это уже действительно акустика и физиология, а не языковедение.

В итоге приходим к выводу, что и так называемые «чистые» лингвисты, исследующие язык ради самого только языка, не могут не быть в принципиальном смысле филологами.

3. Однако помимо всего есть еще, как мы видели, громадная область лингвистических проблем, требующих в той или иной степени, в зависимости от конкретного содержания темы и принятой точки зрения на нее известного внимания к связям, существующим у языка с прочими областями культуры. Это проблемы истории языка в собственном смысле термина*, появляющиеся тогда, когда язык изучается как одна из сторон в биографии данного народа, лица, литературы и т. д. Ясно, что изучение такого рода проблем требует от языковеда не только общей филологической позиции, но и соответствующего филологического опыта и умения. Это и будут лингвистические исследования, отмеченные присутствием в них более или менее сильного филологического «момента», и здесь уже лингвист может быть назван учеником филолога.

Сказанное здесь об отношении филологии к лингвистике может быть применено с соответствующими перестановками и изменениями и к отношению филологии к разным другим наукам, в практике которых возникает филологический момент большей или меньшей значительности.

§ 14. ЦИКЛИЗАЦИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

В заключение нашего исследования задач филологии мы должны вернуться к вопросу, с которого начали: что такое филологические науки и чем они объединяются?

После всего, что было сказано до сих пор, ясно, что искать ответа на этот вопрос нужно не в содержании наук, а в природе их объектов и в способах, какими данные науки добывают свой

материал. Мы установили, что существует обширный круг наук, которые исследуют явления, доступные для изучения только в их опосредствованиях. Это, следовательно, науки, материал которых становится для них доступным только с помощью филологического искусства. Науки, которые нуждаются в применении этого искусства, и могут быть названы науками филологическими.

Правда, все науки этого рода имеют известное сходство и со стороны своего содержания. Как мы уже знаем, это науки исторические, исследующие каждая особую область человеческой культуры. Эти науки называются также гуманитарными, так как в конечном итоге они изучают именно человека в его деяниях. Полезно еще раз напомнить, что к таким гуманитарным наукам относится и история самой науки, притом не только гуманитарной, но также, например, математики или естествознания, так как и эти науки — творения человека. Можно поэтому представить себе такую координацию этих наук, которая сделала бы своей целью поставить в центр своего внимания именно человека (или народ, человечество, что принципиально то же самое) и затем исследовать, каким образом общие признаки и свойства человека обнаруживаются в различных продуктах его действий, в разных областях культуры. Но если такая проблема и возможна, то она во всяком случае не есть проблема в прямом смысле филологическая. Как уже говорилось (§ 4), исследование данного круга вопросов могло бы составить предмет науки, вроде возникавшей одно время «этнической психологии». Не приходится особо доказывать, что и такая наука не избежала бы необходимости пользоваться приемами филологии. Но если бы и можно было бы в таком случае все гуманитарные науки назвать филологическими, то все-таки именно потому, что они невозможны без применения филологического искусства, а не почему-либо другому.

Таким образом, мы снова приходим к общему выводу, что филологическими науками следует называть науки, нуждающиеся в применении филологического искусства. Однако чрезмерная общность такого определения, безупречного со стороны принципиальной, нуждается в некоторых ограничениях со стороны требований научной практики.

Дело в том, что самая материя, из которой состоят «сообщения», в разных случаях различна, а потому и техника чтения «сообщений» не совпадает. В отдельных случаях она настолько различна, что практически трудно рассчитывать на одновременное умение читать сообщения разной материальной природы. Отсюда возникает возможность произвести известное расслоение внутри общего цикла филологических наук, в зависимости от характера материальных воплощений, с которыми приходится иметь дело в различных случаях.

Прежде всего приходится с этой точки зрения разделить филологические науки на такие, которые имеют дело с языковым воплощением соответствующих содержаний, и такие, материал которых дан не в формах языка. К последним относятся науки, которые познают свой материал через интерпретацию вещей, как например археология и науки об изобразительных искусствах. Читать рукопись и постигать содержание, воплощенное в утвари, постройках, статуях, картинах, — это приемы настолько различные практически, что их можно считать двумя самостоятельными видами того практического искусства, которое мы условились именовать филологией. Не будет ошибкой сказать, что они только в философском, теоретико-познавательном смысле представляют собой одно и то же, а между тем сейчас мы говорим именно о научной практике.

Этим в достаточной степени объясняется установившееся словоупотребление, которое с известного времени все чаще исключает из общего цикла филологических наук науки, имеющие дело не со словом, а с вещами. Правда, полного разрыва между словесными и не-словесными науками, и именно практически, все равно не получается. Всякий археолог и историк искусства знает, что без помощи литературных источников он работать не может. Представить себе историка греческой скульптуры, не умеющего читать и понимать Гомера в подлиннике, совершенно невозможно. Но литературные источники в таких случаях представляют собой, хотя и чрезвычайно важный, но все же только подсобный материал. Поэтому с чисто практической точки зрения можно говорить о цикле филологических наук в двояком смысле: в более широком, включающем также науки не-словесные, и в более узком, включающем только одни словесные науки.

Но начатое расслоение может быть продолжено и дальше. Под словесными науками мы здесь понимаем все такие науки, материал которых независимо от представляемого ими содержания дан в слове. Но если мы теперь обратим внимание на то, какого рода материал воплощается в слове в различных случаях, то увидим, что в общем цикле широко понимаемых словесных наук в свою очередь можно выделить два новых цикла меньшего объема. Первый из этих циклов будет обнимать науки, которые хотя и принуждены иметь дело со словом, чтобы таким путем прийти к своему материалу, но сами исследуют действительность не словесную, а реальную в прямом смысле понятия. Сюда относятся науки, изучающие социально-политические отношения, хозяйство, достижения науки и техники и т. д. в той мере, в какой их материал извлекается из языковых документов. Ко второму из этих циклов меньшего объема тогда отойдут науки, которые не только черпают свой материал в памятниках языка, но и самый материал которых представляет собой языковую действительность.

Это прежде всего языковедение, предмет которого, как уже было сказано (см. § 13), есть одновременно и объект исследования и «сообщение» универсального характера, а затем история литературы, материал которой при любом его узком или широком понимании во всяком случае не отделим от языка и непременно входит в языковую действительность. В результате убеждаемся, что есть словесные науки с реальным материалом и словесные науки с словесным материалом. Вторые в отличие от первых могут быть названы филологическими науками в наиболее узком, специальном смысле этого выражения.

Итак, можно говорить о трех циклах филологических наук, из которых каждый последующий как бы вложен в предшествующий и из него вынимается. Это, во-первых, науки, изучающие материал, который воплощен как в языковой форме, так и в вещах; во-вторых, науки, имеющие дело с материалом, воплощенным только в формах языка; и в-третьих, науки, изучающие только такой материал, который уже и сам по себе есть язык в том или ином его качестве. Науки последнего из этих циклов, наука о языке и наука о литературе, и подразумеваются чаще всего, когда идет речь о филологических науках в повседневном, ходовом словоупотреблении.

Но не может ли быть это расслоение обширной области филологических наук продолжено еще дальше? Об этом необходимо спросить себя между прочим и потому, что со стороны каждой из двух наук последнего, наиболее узкого филологического цикла с течением времени все более заметными становятся попытки решительно отмежеваться от соседней в отношении своих задач и методов. Это сказывается и в том, например, что лингвисты очень неохотно причисляют себя к числу филологов, а литературоведы под филологами преимущественно имеют в виду лингвистов. Здесь не место для развернутого исследования сложного вопроса об отношениях между двумя основными филологическими дисциплинами — лингвистикой и литературоведением, но вкратце по этому поводу можно сказать следующее.

По содержанию своему это науки, разумеется, разные и в интересах более точного определения содержания каждой из них тенденцию к возможно более строгой их дифференциации нельзя не считать полезной и здоровой. Тем не менее следующие три обстоятельства создают между языковедением и литературоведением связь более тесную, чем та, которая существует вообще между разнообразными науками филологического цикла.

Во-первых, обе эти науки в чрезвычайно большом числе случаев работают над одними и теми же памятниками. В принципе, для лингвиста всякий языковой памятник есть памятник его науки, в том числе, следовательно, — и памятники разнообразнейших жанров литературы. Процент литературных памятников в общем числе памятников, которыми пользуется лингвист, высчитать очень трудно, но невозможно сомневаться в том, что он очень высок. Но не забудем и того обстоятельства, что и, наоборот, все памятники, которыми занимается литературоведение, представляют собой одновременно и памятники языка.

Во-вторых, с точки зрения интересов лингвиста литература есть не что иное, как известная разновидность языка*. Лингвист, исключая из поля своего зрения литературу, в принципиальном смысле осужден на неполноту познания своего предмета. Конечно, и здесь, как и везде, существует разделение труда и узкая специализация, а потому сказанное не

следует понимать в том смысле, что каждый специалист по лингвистике непременно должен заниматься также и той формой языка, какую представляет собой литература. Но с точки зрения принципиально-методологической не может быть вполне адекватного и исчерпывающего знания о языке, пока не приняты во внимание все разновидности языка, существующие в исторической действительности. Одной из таких разновидностей, по важности своей занимающей далеко не последнее место в ряду прочих, является литература.

В-третьих, наконец, невозможно истинно-научное литературоведение, пока оно игнорирует тот самоочевидный факт, что литературное произведение есть не просто выражение той или иной идеи, а непременно языковое ее выражение, и что поэтому для исследователя литературы язык имеет значение, далеко выходящее за пределы значения внешней оболочки, как бы футляра, в который нечто вложено. То, что исследуется в науке о литературе, не может быть вынуто из соответствующей языковой формы в «чистом» виде, потому что языковая форма входит как известный ее член внутрь структуры литературного явления как такового.

Уже и этих трех утверждений, в справедливости которых вряд ли кто-нибудь может усомниться, достаточно для того, чтобы понять, что известного рода предметная связь между наукой о языке и наукой о литературе не может исчезнуть ни при каких обстоятельствах. При всей неизбежности и жизненной необходимости строгой дифференциации обеих этих наук наблюдающееся наряду с этим в научной практике движение в пользу тесного сотрудничества между ними и признание высокой полезности для каждой из двух наук постоянного взаимного обмена материалом и выводами нельзя не признать движением высоко разумным.

Нельзя считать случайностью и то, что в высшей школе всех стран до сих пор сохраняется совместное преподавание и изучение этих двух наук в качестве наук — в наиболее специфическом значении этого термина — филологических.

КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ

Ниже речь будет идти не о «чтении вслух» (ораторская речь, декламация и т. п.), которое характеризуется специфической установкой на внешние формы речи и связано с выполнением некоторого произносительно-речевого канона (дикция, орфоэпия и т. п.), а о чтении как особом умственном акте, направленном на усвоение того содержания (смысла), какое скрывается за речевым текстом, как за своим внешним знаком. С самого начала тщательнейшим образом следует подчеркнуть это основное для нас различие. Говоря о чтении, мы имеем в виду не те или иные организованные формы самой речи, а лишь усвоение смысла речи через эти формы. С этой точки зрения следовательно читатель нами может быть сопоставлен не с чтецом — декламатором или оратором, — а, разумеется, со слушателем, который так же как читатель направляет свое сознание на смысловую расшифровку слова, сообщаемого нам в форме ли живой устной речи, или печатного набора. Это различие внешних форм — в одном случае графических, в другом — звуковых, через которые пробивает себе путь к смыслу читатель и слушатель, — принципиальной роли не играет. По существу в этих обоих случаях перед нами однородный умственный акт, с установкой на содержание речи. Тем не менее невозможно было бы отрицать, что различие это имеет свое, пусть и не принципиальное значение: в зависимости от того, в каких внешних формах доходит до нас смысл слова, смысл этот в известной мере может оказаться видоизмененным, получить особую специфическую окраску, хотя бы при этом самый акт постижения смысла принципиально оставался тем же.

Не трудно, действительно, заметить, что чтение печатного текста уже одним тем отличается от слушания этого текста в устной передаче, что читатель не видит и, следовательно, не ощущает непосредственно самого исполнителя как живую,

психо-физическую организацию, с ее личными, ей индивидуально свойственными отличиями и особенностями. — Личность сообщающего оратора, чтеца, вообще автора, всегда находит себе то или иное отражение в слове: в тех или иных интонациях, в тембре и качестве голоса, в речевых жестах, сопровождающих словесное изложение, иными словами, — во всех тех качествах слова, которые в науке принято называть выразительными (экспрессивными) функциями речи. Эти выразительные качества речи, будучи побочным продуктом речевой деятельности, способны тем не менее придавать особый характер и тон объективному смыслу слова. Они составляют как бы некоторого рода субъективный налет на объективном содержании слова, которое остается одним и тем же независимо от того, кто и как его произносит. В зависимости от личных особенностей произносящего этот объективный смысл преломляется как бы личным тоном и личными признаками говорящего. В этом легко убедиться на самых простых примерах. Так, мы по-разному отнесемся к слову «вперед», в зависимости от того, произнесено оно смелым человеком, т. е. искренно, или трусом¹. Та особая нотка, которая прозвучит в этом слове во втором случае, если она нами уловлена, самое содержание этого призыва представит нам в ином свете. — И вот слушателю очень трудно пройти мимо этих выразительных качеств речи, в особенности, когда он имеет дело с более или менее искусным чтецом, оратором. Ему стоит больших усилий воспринять объективный смысл речи помимо и вопреки этой субъективной окраске, сообщаемой смыслу говорящим. Ведь основное задание ораторской речи, например, именно в том и состоит, чтобы путем умелого использования выразительных свойств слова добиться максимального воздействия на аудиторию, представить ей вещи в таком виде, в каком это нужно оратору. Во всяком случае, если и может слушатель отрешиться от этого личного тона, субъективного дополнения к смыслу, то лишь на известной высоте культурного развития. «Мне рассказывали об одном знаменитом итальянском актере, — сообщает Фосслер, — что он умел до-

¹ См. к этому мою книжку: Биография и культура, М. 1927, стр. 79—82*.

водить публику до слез, считая подряд от 1 до 100 интонацией совестливого убийцы, который, раскаиваясь, рассказывает о своем преступлении. Никто уже не обращал внимания на счет, каждый, содрогаясь, сострадал несчастному преступнику. Интонация (*Der Akzent*) придавала итальянским количественным числительным небывалое значение»¹. На том же действии экспрессивных качеств слова строит свои политические расчеты Дон-Карлос у Гюго, когда в ответ на указание, что слабое знание латыни может отрицательно отразиться на его кандидатуре на императорский престол, он заявляет:

...Il importe peu, croyez — en le roi Charle,
Quand la voix parle haut, quelle langue elle parle².

Но читателю гораздо легче освободиться от этого субъективного смысла, навязываемого слову личностью говорящего. Разумеется, и в печатном тексте остаются следы этой субъективной надстройки над прямым смыслом речи (особенности стиля, риторические приемы и т. д.), но здесь надстройка эта лишена уже этой непосредственной и принудительной силы. В чтении эти живые черты личности, скрывающиеся за словом, отступают на задний план, и они не столько нами непосредственно ощущаются, сколько угадываются, для чего необходимо особое и специальное к ним внимание. Таким образом, мы приходим к выводу, что для усвоения объективного смысла речи чтение есть путь гораздо более надежный и застрахованный, нежели слушание. Напечатав свое произведение, автор в известной мере теряет власть над читателем: власть эта принадлежит теперь уже самому произведению, и оно само за себя отвечает. Никакой вкрадчивый голос, никакая убедительная патетика не докажут уже теперь читателю, что в произведении этом есть смысл, если на самом деле напечатанный текст лишен смысла. Вот почему по-разному мы относимся к одной и той же литературной вещи, слушая ее с эстрады и читая ее в

¹ K. Vossler. *Positivismus und Idealismus in der Sprachwissenschaft*. Heidelberg, 1904. S. 67*.

² Т. е. «Когда говорят громко — поверьте в этом королю Карлосу, — то не имеет никакого значения, на каком языке говорят». — *Hernani*, acte I, scène III**.

книге. И вот почему писатель гораздо более вынужден заботиться о тщательности литературной отделки своей вещи, чем оратор: последнему легко скрасить недостатки стиля самими манерами произнесения речи.

В частности, поскольку речь идет о поэзии, совершенно неправа С. Вышеславцева — автор статьи «О моторных импульсах стиха», — когда утверждает, будто декламационное произнесение является... «наиболее активной и полной формой переживания поэтического произведения»¹. «Бальмонт читал мне однажды "Подводные цветы", и я пришел в восторг; прочел я теперь эти "Подводные цветы" в "Русск<ой> Мысли", и они мне уже показались растянутыми», — так признавался Валерий Брюсов сейчас же вслед за тем, как панегирически хвалил декламацию Бальмонта*. И он же пишет о Бальмонте в другом месте: «...Напечатан "Воскресший" Бальмонта, увы! оказавшийся в печати растянутым. Говорят, когда Вергилий сам читал свои стихи, наиболее слабые места все же выходили прекрасными. Б<альмонт> обладает тем же талантом, и я не разочаровался пока только в "Подводных растениях"»².

Есть и еще одно различие между двумя указанными способами постижения смысла речи. Но это различие легче будет усвоить после того, как мы ближе характеризуем самое чтение как специфический культурный акт.

2

Чтение (соответственно — слушание), направленное на постижение смысла, характеризуется как культурный акт тем, что оно есть акт понимания. Нам нет надобности вдаваться в философские тонкости, связанные с этим важным понятием, но все же и нам нельзя обойти некоторых основных осо-

¹ См. «Поэтика», Временник Г<осударственного> И<нститута> И<стории> И<скусств>. Вып. III. Л., 1927, стр. 48. Разрядка автора. — Насколько неуверен однако сам автор в своем тезисе видно уже из того, что он тут же в сноске указывает на статью С. И. Бернштейна**, который неоднократно убедительно показывал, что декламация и поэзия суть вещи друг другу совершенно посторонние.

² Письма В. Я. Брюсова к П. П. Перцову. М., 1927, с. 15 и 22.

бенностей понимания, поскольку оно имеет своим предметом слово. Для того, чтобы ответить на вопрос, как совершается понимание слова, следует отчетливо уяснить себе положение слова в речи. А именно, необходимо твердо помнить, что отдельное слово в речи никогда не имеет своего точного и отдельного, раз навсегда ему присущего смысла: звуковой комплекс, которой мы называем «отдельным словом», есть лишь некая точка пресечения различных возможных смыслов, из которых нужный отбирается в зависимости от того, в какой связи, в каком «контексте» это слово употреблено. Возьмем снова самый простой пример — слово с двумя значениями (омоним). «Мир будет заключен после того, как враг сложит оружие». Сами по себе слова «мир» и «заключен» могут быть осмыслены по крайней мере двояким образом: мир — как прекращение военных действий и вселенная, «заключен» — как акт подписания договора и как такой акт, в результате которого нечто оказывается замкнутым. Наш пример показывает, что каждое из этих слов получает свое нужное значение только в зависимости от того целого, элементом которого оно является. Только вся наша фраза, в ее конкретной цельности, способна рассеять наши сомнения относительно смысла каждого из компонентов нашего целого. Возможны случаи гораздо более сложные; конечно мы выбрали простейший пример. Но даже и на этом простейшем примере легко увидеть, что для надлежащего понимания смысла необходимо, чтобы сознание читателя (слушателя) охватывало речь в ее целом, как нечто единое, проникнутое цельным и единым смыслом.

Ясно однако, что гораздо легче удержать в сознании целое при чтении текста, нежели при слушании того же текста в устном исполнении. В то время как для слушателя слова, по мере их произнесения, исчезают одно за другим и воспроизведение текста требует уже напряжения памяти, читатель имеет полную возможность легко каждый раз восстанавливать контекст путем возвращения к только что прочитанному, путем того «повторения пройденного», которое, как известно, составляет элементарный прием педагогики. Необходимый для уразумения целого контекст — всегда перед глазами читателя. Не сразу усвоив то или иное места в прочитанном тексте, читатель имеет возможность перевернуть 10, 20 и сколько угодно

еще страниц обратно и таким образом восстановить утерянную им связь. Удержание такой связи в памяти слушателя требует огромного умственного напряжения, и при более или менее обширном контексте есть вещь попросту невозможная. Именно на этой почве и возникает потребность записать раз сказанное или услышанное слово: так возникает литература, наука, вообще вся культура. Но нам здесь важно лишь подчеркнуть, что понимание речи более совершенно осуществляется при чтении, чем при слушании, потому что читатель всегда располагает тем контекстом, который обуславливает конкретное содержание речи¹.

Что же касается самого понимания, то как явствует из предыдущего, оно не есть механический процесс восприятия, а требует некоторого рода активного отношения к слову. «Поэты пишут не для зеркал и не для стоячих вод» (Ин. Анненский)*. Слова не укладываются в наше сознание как папиросы в коробочку, и само наше сознание должно каким-то образом подготовиться ранее к тому, чтобы понять речь. Оно постоянно ищет связи между отдельными внешними знаками, механически им усваиваемыми, иными словами — оно всегда некоторым образом комментирует ту речь, какую усваивает. Простейший пример такого комментария и истолкования — то *повторение пройденного*, о котором мы говорили выше. Слова *мир заключен*, сами будучи поняты лишь после того, как мы прочли *враг сложит оружие*, в то же время являются тем пунктом, к которому возвращается наше понимание, чтобы уразуметь точный смысл слова *враг*: очевидно теперь, что *враг* — значит военный неприятель, а не что-либо иное. Типичный пример комментирования — правильное истолкование того или иного дипломатического акта, коммерческого договора и т. п. Мы знаем, что практическое применение того

¹ Голландский филолог Пос (H. J. Pos) в своей интересной книге: *Kritische Studien über philologische Methode*. Heidelberg, 1923. S. 88, — указывает, что при переложении письменного текста в устный последний претерпевает существенные изменения — и прежде всего он утрачивает свою обзиримость (*Übersichtlichkeit*). Контекст («Die Folge») — по словам Поса — «безусловно лучше сохраняется в тексте для чтения, нежели в звучащем тексте».

или иного дипломатического постановления всегда нуждается, в качестве предварительной задачи, в выяснении всевозможных недоразумений относительно смысла слов, в каких это постановление заключено. Точно такое же истолкование требуется и от читателя: оно заставляет иной раз выходить уже за пределы того текста, который ограничен рамками прочитываемой книги, и обращаться в поисках нужной связи (за «справками» и т. п.) к другим печатным и культурным источникам. Положим, что читатель прочел *Ассурбанипал*. Хорошо, если он помнит, кто назывался этим именем. В противном случае необходимо обратиться к энциклопедическому словарю или другим подобным же источникам. Во всем этом уже налично элемент некоторого комментария, истолкования.

Вторая основная характеристика понимания заключается в том, что понимание не только комментирует, но и критически оценивает воспринимаемое слово. Если читатель прочтет: *Русская революция 1848 года*, то не найдя нужной связи, которая позволила бы ему понять эту фразу, он придет к критическому заключению: написанное — неверно, в нем допущена ошибка; следует сказать: *русская революция 1905 или 1917 года*, или же, что более вероятно, речь здесь идет не о русской, а о французской революции. Критическое отношение к тексту есть, таким образом, вторая основная особенность того умственного акта, который мы называем пониманием. Истолкование и критика прочитываемого — вот из чего складывается читательский опыт. Поскольку же истолкование и критика не суть механические процессы, бессознательные акты, а требуют активного отношения к слову, т. е. некоторого умения и (условно) искусства, постольку можно говорить и о культуре чтения. Она очевидно состоит в сознательном и целесообразном применении читательского опыта, в стремлении к наиболее совершенному пониманию прочитываемого. Так возникает вопрос о приемах, которыми пользуется читатель для того, чтобы облегчить себе более совершенное понимание.

3

Всем по-видимому известно, что читать можно по-разному. Мы пробегаем «Вечёрку» в трамвае одним глазом и отбрасыва-

ем ее в сторону за ненадобностью. Мы прочитываем беллетристическую новинку, отдыхая после обеда, и удаляемся, в библиотеку или кабинет для штудирования заинтересовавшего нас научного сочинения. В зависимости от того, что мы читаем и с какими целями, мы пользуемся различными читательскими приемами истолкования и критического освещения данного текста. Само по себе содержание книги, пока не определено, в каком отношении содержание нас интересует, с какими целями подходит читатель к его усвоению, не предопределяет еще читательских приемов. Естественно, что и «Вечерку» можно читать очень внимательно, если, например, газета для нас является не просто ежедневным поставщиком новостей, а историческим документом, характеризующим эпоху и т. п. Точно так же и роман мы будем читать в строгом уединении, с максимальным вниманием, если нам поручено составить о нем обстоятельный критический отзыв. Иными словами, можно сказать, что те или иные читательские приемы обусловлены в конечном счете не только объективным содержанием книги, но также и той степенью внимания к этому содержанию, которая нужна для достаточного истолкования и критического усвоения книги в нужном читателю отношении.

Культура чтения и есть проблема сознательного и целесообразного применения этих приемов, т. е. проблема правильного и наиболее совершенного распределения внимания между отдельными сторонами содержания, в зависимости от цели, в каждом отдельном случае преследуемой читателем.

В чем, однако, состоят эти приемы? Опять-таки всем видимому знакомо обыкновение внимательного читателя делать всякого рода пометки и замечания по поводу прочитываемого. В процессе чтения читатель может натолкнуться на такие утверждения или факты, которые ему в том или ином отношении важно, например, запомнить. Для этого он подчеркивает или подчеркивает данное место в книге, делает из него выписку, заносит заметку о данном утверждении в блокнот и т. п. Положим далее, что какое-либо место показалось ему непонятным: перелистав книгу, справившись в других изданиях или у компетентного лица, читатель восстановил тот контекст, который ему нужен для правильного усвоения непонятного места: этот найденный контекст он стремится за-

крепить, чтобы при другом случае не искать его уже более. С этой целью он снова делает ту или иную заметку на полях книги, в блокноте или особой тетрадке, вообще каким-либо образом закрепляет во внешнем знаке отысканный им элемент комментария. Точно так же фиксирует читатель во всех этих значках, нотабене, вопросительных крючках, закладках и т. п. элементы своего критического усвоения текста. Пушкин, например, просто зачеркивал чернилами те строки в книге, какие он находил неверными или спорными¹. Само собою разумеется, что дело не в этих пометках и крючках, а в том акте понимания и усвоения, какой открывается за этими внешними значками. Иной читатель обладает памятью настолько хорошей, что не нуждается в этих внешних отметках, и может всю эту истолковательскую и критическую работу проделать без закрепления ее на бумаге. Но я заговорил об этом обычном приеме внимательного чтения только потому, что он нагляднее всего свидетельствует о содержании того акта, который мы называем пониманием. В развернутом виде всякое понимание книги есть комментарий и рецензия. Пометки на полях книги есть зародыш статьи о книге. И само собою разумеется, что только тот читатель может быть назван культурным, который может дать ясный отчет о прочитанном, т. е. правильно истолковать и критически оценить тот текст, который является предметом его понимания.

4

Присмотримся теперь ближе к некоторым основным типам чтения и соответственно основным типам читательских приемов. Вообразим журналиста за его неперменным и обычным профессиональным занятием: чтением газет. Газета для журналиста есть не только предмет усвоения и понимания, но и источник, материал его собственной газетной работы. Читая газетные сведения, отклики и т. п. журналист собирает материал для своей собственной статьи. Естественно поэтому, что и навыки у него в этом отношении должны выработаться соответственные тому материалу, каким он пользуется. Особен-

¹ См.: Б. Модзалевский. Библиотека А. С. Пушкина. СПб., 1910 (снимок на с. 16)*.

ности газетной речи в общих чертах нам известны: речь эта, рассчитанная на быстрое распространение и быстрое усвоение, превращается повсюду, где это только можно, в фиксированную формулу, штамп, пригодный к разным ситуациям и обстоятельствам (см. выше в очерке о языке газеты)*. Журналист штампы эти легко и свободно проглатывает; он, в силу своих профессиональных навыков, знает уже заранее, что в этих штампах сказано: ему нет надобности останавливать на них внимание. Порою опытному журналисту достаточно лишь бегло просмотреть статью, телеграмму, иногда один какой-нибудь заголовок, чтобы безошибочно и точно судить не только о содержании события, в газете излагаемого, и не только о точке зрения, с какой излагается данное событие, но также о связи этого события с другими, о политической тенденции, вложенной в данную телеграмму или заметку и т. п. Этим опытом журналистического чтения, обладающего своеобразной установкой, которая позволяет журналисту одним взором проникать сквозь штампы в скрывающиеся за ними реальные отношения, только и можно объяснить способность профессиональных журналистов прочитывать по несколько десятков газет в день.

Но как читает газету обыватель, рядовой читатель? У него, конечно, нет такого опыта, который позволил бы ему конкурировать с журналистом в смысле быстроты усвоения газеты. Несомненно однако, что в идеале и рядовой читатель должен читать так же, как журналист. В последнее время этому помогает новая система расположения газетных заголовков, где штампованные формулы подновляются специфическими «заголовочными» приемами, включая игру шрифтов и пр.

Обратимся теперь к другим типам чтения. Вообразим ученого, знакомящегося с научной новинкой по его специальности. Если наблюдать за тем, как обращается ученый со вновь полученной им книгой, то в первую минуту его читательские приемы могут показаться чрезвычайно странными. Действительно, обращает на себя внимание исключительно тщательное отношение ученого прежде всего ко всяким внешним приметам книги: заглавию, году и месту издания, всякого рода указателям, приложенным к книге, выноскам**, предисловию, наконец, оглавлению. Раньше, чем сесть за изучение книги, специа-

лист «обнюхает» ее со всех сторон, самым тщательным образом просмотрит ее внешнюю, так сказать, поверхность, несколько раз ее перелистает: объясняется это, конечно, тем, что и в научном языке есть свои штампы и формулы, только несколько иного характера, чем в языке газетном. Штампы эти — оглавление, указатель, выноска, характерная терминология — при внимательном к ним отношении способны открыть ученому уже наперед, до ознакомления с конкретным содержанием книги, в какой мере книга эта заслуживает внимания и может оказаться ему полезной. Иной раз сам по себе перечень предметов, упоминаемых в данном сочинении, или какая-либо библиографическая ссылка может подсказать ученому точку зрения автора, зависимость его от предшественников и т. п. По одному заглавию ученый может судить, следует ли ему теперь читать эту книгу или отложить ее изучение до того времени, когда она ему может понадобиться при такой-то и такой-то работе. Но допустим, что ученый наконец решил читать свою книгу, убедившись, что она заслуживает внимания и серьезного изучения. В этом случае его чтение превращается в наглядный и носящий все признаки внешнего оформления комментарий. Занимаясь наукой, никогда нельзя читать одну какую-либо книгу: они всегда нужны во множестве. Каждая новая строка новой книги требует справок и проверки в целом ряде других изданий, в собственных заметках или памяти ученого и так далее, до бесконечности. Прочесть книгу, не истолковав научным образом ее утверждений, не проверив критически ее выводов — значит вообще даром потерять время с точки зрения научных занятий. И если для журналиста мы подбирали аналогию в рядовом читателе, то для ученого такую же аналогию дает учащийся. Принципы чтения, цели, преследуемые чтением, остаются те же, но ученый разумеется располагает гораздо более богатым опытом, «эрудицией», а потому он вернее и надежнее может понять книгу, чем учащийся.

Наконец, обратим внимание на чтение поэтических текстов. Здесь перед нами снова иная картина. В последние годы в русской художественной критике привился термин «медленное

чтение», предложенный М. Гершензоном¹. Термин этот действительно удачен, поскольку он прямо указывает на затрудненность художественной формы для непосредственного усвоения поэтического содержания. По сравнению с обычной, повседневной речью язык поэзии преобразен, звучит по-новому, нарушает привычные языковые нормы, и конечно требуется внимание совершенно особого рода для того, чтобы все эти непривычные особенности преодолеть и с ними освоиться. Тут нужно особого рода воспитание и умение, которое должно быть свойственно, например, художественному критику, филологу, занимающемуся критикой текста и т. п., умение подолгу задерживаться на одном каком-нибудь слове до тех пор, пока смысл его не станет совершенно ясным. Чтение поэтического текста есть поэтому наиболее, пожалуй, внимательный тип чтения. По отношению, к пониманию это выражается также еще и в том, что здесь акт истолкования и критики совершается внутренним образом, выражаясь внешне только при наличии специального задания: критическая статья и пр. Внутренний характер понимания поэзии объясняется самими качествами поэтического слова: недаром так раздражающе действуют комментационные или критические пометки на полях сборника стихов, столь привычные в учебнике или исследовании. Наконец и в отношении поэтического текста остается справедливой наша прежняя аналогия между специалистом и рядовым читателем: понимание поэзии протекает теми же путями, независимо от того, читает стихи барышня с голубыми глазами или критик. Различие между ними — в объеме опыта, в степени сознательности, читательского искусства. По существу же, здесь находит свое полное оправдание известное положение Ю. Айхенвальда: «Читатель — сам критик»*.

5

Из всего вышеизложенного следует с несомненностью одно: культурный читатель есть читатель образованный в самом широком смысле этого слова. Если обыватель должен читать так же, как журналист газету, ученый — исследование и кри-

¹ См. хотя бы: Вопросы теории и психологии творчества. Т. VIII. Харьков, 1923, с. 41*.

тик — поэзию, то для этого ему нужна та степень осведомленности в каждой из этих областей, какая свойственна специалистам. Чем больше сведений у читателя, тем легче ему составить комментарий к прочитанному, тем меньше справок нужно ему искать в словарях или у компетентных лиц, тем больше у него запасено материала для критического усвоения лежащего перед ним текста. Чем шире круг образованности читателя, тем легче ему отделить в книге главное от побочного, насущное от лишнего, иными словами — точнее определить цель своего чтения. На базе широкой образованности складывается тот тип культурного читателя, который в тенденции, в идеале — дает читателя ученого, т. е. филолога. Филология в наши дни не в моде. Объясняется это тем, что никто точно не знает, что такое филология. Между тем филолог не «буквоед» и не «гробокопатель», а просто — лучший из читателей: лучший комментатор и критик, «учитель медленного чтения» (Ницше). Основная обязанность филолога именно в том и состоит, чтобы понимать решительно все: он не должен быть экономистом, но понимать экономическое исследование должен; он может не писать стихов, но понимать стихи обязан. Лишь в силу требований практики и в соответствии с принципом разделения труда редкими являются случаи, когда филологу сразу известна техника понимания всех без исключения отраслей культуры в их специфическом материальном выражении. Но в принципе — все написанное, напечатанное, сказанное должно быть доступно уразумению филолога. Говорю же я об этом не потому, будто думаю, что всякий читатель должен быть филологом. Это было бы явно нелепо. Но филология имеет громадное и неисчерпаемое культурно-воспитательное значение. Филологические занятия приучают читать так, чтобы не оставалось никаких сомнений относительно смысла прочитанного. А ведь в этом именно и состоит культура чтения.

ПОЭЗИЯ И НАУКА

1. — Наивное культурное сознание своим естественным и неперенным долгом считает преклонение перед наукой. Долг этот есть действительно долг, откуда-то раз навсегда предписанная добродетель, и выполняется он тем охотнее, с тем меньшими сомнениями, чем меньше есть в действительности у такого наивного сознания точек соприкосновения с подлинным научным знанием. «Перед словом "наука" он благоговел самым бескорыстнейшим образом, тем более бескорыстным, что сам решительно ничего не знал» (Село Степанчиково). Полковник Ростанев, который сам, как известно, «никогда и ничему не учился», действительно и в непереносном смысле жертвовал собою ради науки. Учебник минералогии в глазах его есть высшее откровение человеческой премудрости, университетский диплом, пусть даже и фиктивный, — по меньшей мере мандат на бессмертие. «Человек науки останется в столетии» — решает бесстрашный поборник знания, и отдает свою жизнь на растерзание любому встречному, которому не лень позабавиться на чужой счет.

Это неразборчивое, хотя и добродушное, уплотнение Пантеона в большей или меньшей мере встречается во все времена, и с ним не трудно мириться, пока разница, скажем, между методами Опискина и Гегеля остается самоочевидной, и для узрения ее не требуется специальной направленности внимания. Бывают зато эпохи, когда даже и такие расстояния, реально, конечно, никогда не исчезающие, перестают тем не менее создаваться отчетливо и непосредственно: во времена культурных сдвигов и потрясений, когда старое рушится и спешно нужно очистить место молодому, особенно заметной становится эта тенденция прибегать к покровительству научного знания, зывать к помощи научных авторитетов там, где это вовсе не

требуется, и где для науки как строгого знания нет, собственно, надлежащего приложения. В убеждении, что наука «все может», последней навязывают такие задачи, которые она вообще решать не призвана; ученого насильно рядят в халат Фомы Фомича и настойчиво предлагают ему вмешаться в чужое личное дело. И уже совсем беда, когда этой — лестной, конечно, для неопытного самолюбия — подстановки не замечают сами ученые: научное знание в таких случаях неизбежно уклоняется от своего собственного пути, а живое культурное сознание остается при разбитом корыте, неосторожно положившись на чужие силы.

2. — Ведь вовсе не нужно быть «алогистом» или «иррационалистом», вовсе нет необходимости принадлежать к какой-либо из подобных «без-умствующих» сект, чтобы оставаться при убеждении в предельности научного знания. Речь здесь идет, естественно, не о тех пределах, которые ставятся научной мысли, как и прочим формам социального творчества, самою мерою наших человеческих способностей: эти преграды для научной мысли не являются принципиальными, и с ними смело можно не считаться, поскольку в тенденции, в идеале, такое препятствие есть величина бесконечно убывающая. В принципе же, не существует в социальном мире таких ограничительных сил, которые могли бы помешать научной мысли сделать своим предметом решительно все, что она изберет. Нет такого явления действительности — все равно природной, психической или социальной, — которое не могло бы быть сделано предметом соответствующей научной дисциплины. Нет, далее, таких препятствий, которые могли бы помешать научному знанию выполнить поставленную задачу до конца, нет ничего «неразрешимого» для науки, — и в этом смысле научное знание действительно бесконечно и безгранично. Но для всего этого необходимо, тем не менее, одно условие, которое состоит в том, чтобы сама наука указала себе на ту конечную цель, к которой она стремится. Цель научного знания, его конкретная задача — вот те естественные границы, которыми сама же наука ограничивает себя для того, чтобы остаться наукой. В том именно и состоит истинная научность, чтобы всегда точно знать, что делаешь, и не переходить пределов, за которыми науке делать больше нечего.

Легко, в самом деле, заметить, что если действительно все — в самом всеобъемлющем смысле этого слова — может стать предметом соответствующего научного рассмотрения, то самое это отношение научного знания между сознанием и предстоящей ему действительностью не есть еще отношение единственно возможное. Если мы наблюдаем ландшафт, то не только самый этот ландшафт как объективный предмет может стать целью научного описания и изучения, но и все прочие формы, в которых мыслимо наше переживание ландшафта, — наше непосредственное им любование, влияние его на наше умонастроение, наше утилитарное, эстетическое, религиозное и иное к нему отношение — все это в качестве совершенно объективных предметов может быть подвергнуто научному анализу. Но уже на этом примере мы убеждаемся, что самое отношение наше к ландшафту может быть весьма многообразно. Мы можем непосредственно любоваться данной картиной природы или размышлять о преимуществах постройки жилища на ее фоне, совершенно независимо от того, что значит этот ландшафт для физика или географа. Точно также и отношение наше к поэзии, о которой мы собираемся говорить ближайшим образом, может быть отношением не только научного знания, но и отношением, например, прямого переживания поэтического слова, переживания его морального, утилитарного, попросту — «житейского», — совершенно независимо от того, что говорится о данном поэтическом факте в истории поэзии. Важно, конечно, не только само по себе это чрезвычайно ясное и бесспорное положение. Гораздо важнее подчеркнуть, что все эти «иные», не-научные, возможные отношения между сознанием и действительностью, имеют свое законное право на самостоятельное культурное выражение. Важно, что сообщение о том или ином переживании поэзии или ландшафта, могущем в свою очередь, как сказано, стать предметом научного знания, возможно тем не менее не только в формах научного логического изложения, но и в иных внешних знаках. Отсюда с несомненностью также следует, что только тогда эти многообразные не-научные переживания объективного предмета можно будет называть переживаниями действительно культурными, когда каждое из них найдет для себя подлинное и свое соб-

ственное выражение, воплощенное в слове или ином культурном средстве.

3. — Поскольку мы имеем дело со словом как знаком или выражением некоторого смыслового содержания, следует точно различать между такими формами переживания слова, которые исходят из его понимания, т. е. переживаниями интеллектуальными, и переживаниями чисто психологического порядка, внутренняя структура которых не зависит от конкретных форм словесного выражения, и для возникновения которых само слово есть лишь своего рода внешний, может быть и случайный даже повод. Эти психологические переживания в дальнейшем рассмотрении мы свободно можем оставить в стороне, поскольку соответствующая совокупность фактов целиком уходит в область субъективных психических и психо-физических процессов, со словом внутренне ничем не связанных и ничего нам о самом слове не говорящих даже тогда, когда переживания эти так или иначе выражены и описаны. Бесконечное разнообразие и крайняя текучесть переживаний подобного рода сами по себе говорят уже за то, что нам с ними делать, в сущности, нечего: нам достаточно лишь указать на эту чисто психологическую проблему для того, чтобы в дальнейшем с нею больше не считаться.

Что касается теперь понимания слова, то и оно, конечно, способно принимать самые разнообразные формы и имеет свои собственные многообразные варьации.

Нам не дано предугадать
Как наше слово отзовется, —

писал Тютчев, и этим верно указал на центральную особенность того умственного акта, который мы называем пониманием. Действительно, слово допускает столь же бесконечное число возможных интерпретаций, сколь безгранична сама способность человеческого понимания. Легко, однако, заметить, что это разнообразие возможных пониманий слова ничего не имеет общего с той хаотической пестротой и текучей подвижностью, которыми характеризуются наши переживания психологические, служит ли для них поводом поэзия, или что иное. Сколь бы разнообразны ни были формы истолкования слова, в основе их все же лежит один и тот же смысл, рас-

крывающийся лишь сознанию с разных сторон в зависимости от направленности нашей мысли. Разнообразие интерпретаций есть, таким образом, не субъективно, персонально свойственное нам разнообразие отношений к предмету, а лишь многообразие самого смысла, на который направлено наше сознание, открывающее в нем то одну, то другую сторону. Рассмотрение, хотя бы неполное и приблизительное, этих различных возможных смыслов слова и далее — различных смыслов самого смысла — и даст нам ответ на вопрос о разных формах культурного переживания поэзии.

4. — Опуская все излишние подробности, припомним лишь два основных типа отношения к слову. В одном случае, перед понимающим стоит задача в смысловом многообразии слова отыскать какой-то один, точный смысл, который не допускал бы далее возможности различного его истолкования: это задача научной интерпретации слова, отношение к слову как к термину. В другом случае — самое это смысловое разнообразие принимается нами как нечто данное, и задача понимающего состоит в том, чтобы именно это многообразие в его целом довести до своего сознания. Это — есть интерпретация поэтическая, отношение к слову как к образу, символу. Слово научное, термин, уже самим внутренним строением своим как бы предуказывает то конкретное направление, в котором его следует толковать, суживает возможное число смысловых его подстановок до минимума. О сознании, которое не в силах уловить этой терминологической тенденции слова, мы говорим, что оно не способно к усвоению научной мысли. Наоборот, слово поэтическое, образное, по самому заданию своему есть выражение некоторого безмерного и безграничного — «символического» смысла. О таком сознании, которое не способно удержать в себе поэтический образ со всем нетронутым богатством его смысловых возможностей, и стремится «объяснить» символ какой-либо частной его смысловой интерпретацией, мы говорим, что оно не понимает поэзии. Сюда, очевидно, относятся всякого рода аллегорические, автобиографические, публицистические и иные истолкования поэтического символа, превращающие поэзию в басню, образ — в инсказание и т. п. Условившись, что такое истолкование поэзии не есть истолкование адекватное, мы и эти формы отношения

к поэзии можем в дальнейшем оставить в стороне, отметив только, что все подобного рода интерпретации являются законными в той мере, в какой поэтическому слову ничто не мешает одновременно выполнять не только поэтические в собственном смысле, но иные — утилитарные всякого рода функции. Оставаясь же в пределах поставленной нами задачи, мы должны теперь спросить себя о различных возможных формах выражения тех переживаний поэзии, которые основаны на адекватном понимании поэтического слова.

Исходя, следовательно, из предположения, что символический смысл понят именно как символический, и что все незаконные, неадекватные смысловые подстановки символа устранены, мы снова в тенденции можем установить два основных типа выражения такого понимания. Символ может быть предметом понимания научного, и тогда результатом такого понимания будет наука о символе — термин об образе. С другой стороны, поэзия остается предметом непосредственного, прямого поэтического (эстетического) ее переживания. Соответствующее понимание найдет, очевидно, свое собственное выражение, которое в тенденции, по крайней мере, явится некоторым родом образного изложения символического смысла, и в результате даст образ об образе. Получается как бы второй этаж смыслов, в котором повторяются те же отношения, что и в первом. Всякое литературное или иное культурное выражение эстетического переживания символа и явится таким образным высказыванием о поэзии.

5. — Но и на этом втором этаже не кончается еще акт понимания. Научное, эстетическое, или еще какое иное осмысление поэтического образа — все это ведь только частные случаи, отдельные проявления нашей безграничной способности понимания, которые могут быть соподчинены какому-то более общему целому. Поскольку образ есть не что иное как особая специфицированная разновидность смысла, постольку и образное понимание есть только разновидность понимания вообще, наравне с иной разновидностью его — пониманием научным. Понимание вообще и есть тот наиболее широкий контекст, в котором могут быть соподчинены обе наши разновидности понимания. Этот контекст лежит уже целиком в плоскости философии, и соответствующая проблема предме-

том своим имеет, очевидно, культурное, т. е. понимающее сознание в его целом. Но самую философию снова можно понимать различно. С одной стороны мы говорим о философии как о научном знании, с другой же — никогда не перестанет быть законным то «философическое» отношение к действительности, которое в неопределенно-широком житейском смысле термина философия принято противопоставлять философской науке. Это философическое отношение к действительности, которое в развернутом и широком виде именуется нами обычно «мировоззрением», «миропониманием» и т. п., повторяю, никогда не перестанет быть законным, но, разумеется, только до тех пор, пока оно не претендует на роль большую, чем ему принадлежит, в частности — не претендует заменить собой научное знание. По отношению же к поэзии, которая нас сейчас главным образом интересует, роль такого философически-мировоззрительного истолкования заключается очевидно в том, чтобы включить в этот широкий житейски философский контекст то эстетическое осознание поэзии, которое наблюдало было нами во втором «этаже» акта понимания, и осмыслить, таким образом, свое истолкование поэтического символа через общее свое культурное отношение к действительности. После этих совершенно необходимых, хотя и слишком, может быть, общих пояснений, ответ на последний вопрос — о формах выражения подобного истолкования поэзии в этом широком и, очевидно, предельном контексте, позволит уже нам сделать некоторые практические выводы и вернет нас к нашей исходной точке зрения.

Это, условно обозначаемое житейски-философским, понимание поэзии, как должно явствовать из всего предыдущего, является основанием такого переживания, которое нельзя, пожалуй, охарактеризовать иначе, как переживание свободное и индивидуальное в самом широком смысле этих терминов. Оно свободно и индивидуально потому именно, что та общая сфера мировоззрительных предпосылок, с которыми подходит к усвоению поэзии тот или иной индивид, читатель, скажем, — никем решительно никому не может быть навязана и составляет в некотором смысле как бы «личное дело» конкретного переживающего сознания, результат его собственно-го личного опыта. Нам не дано предугадать, какой конкрет-

ный путь изберет индивидуальное понимание для этого широкого осмысления воспринятого им поэтического образа, ибо путей этих такое же множество, сколько есть индивидуальных сознаний. Мы можем лишь сказать, что здесь пригоден буквально любой путь, если только исходной точкой его является отношение к образу именно как к образу, т. е. если усвояна самая эстетическая природа поэтического слова. Как способно отозваться поэтическое слово, об этом нам может повести только тот, в ком оно так или иначе, все равно как, но отозвалось. Поэтому и внешние формы выражения того переживания, о котором идет речь, суть формы свободные и индивидуальные в том же широком смысле. Обыкновеннейшей формой такого выражения является литературное творчество в собственном смысле, т. е. не ставящее себе целью ни научной, ни утилитарной интерпретации поэтического слова, а просто повествующее о том, как слово это «отозвалось» в данном индивидуальном сознании и понимании. Литературное творчество этого рода в общезнании именуется обычно «литературной критикой». Термин этот требует некоторых особых пояснений.

6. — Литературную критику у нас принято противопоставлять научному изучению литературы на том основании, что критика производит оценки и выносит приговоры, тогда как научное изучение — стремится лишь к точному констатированию объективных фактов. Из этого противопоставления следуют обычно и дальнейшие выводы, смысл которых сводится к тому, что критика «субъективна», «импрессионистична», произвольна и т. п., тогда как наука — насквозь «объективна» и кроме «установления факта» не претендует ни на что большее. Поскольку под такими суждениями о критике имеется в виду не только выражение тех психологических переживаний по поводу поэзии, которые были выше отведены как не подлежащие нашему рассмотрению, все эти разговоры о субъективности и объективности — не более, чем пошлый вздор, основанный к тому же на совершенно превратном понимании научного знания, по крайней мере, — знания о слове. Мы достаточно выясняли уже, чем отличается научное понимание от житейского, и теперь с полным правом можем указать также и на то общее, что объединяет оба эти типа понимания. Об-

шим здесь будет, очевидно, прежде всего самый акт понимания, которое, разумеется не может быть субъективным или объективным, а только верным или неверным. Если слово понято неверно, т. е. в противоречии с теми данными, какими мы располагаем для его интерпретации, то никакая марка «субъективности» или «импрессионизма» не спасет соответствующее толкование от того, чтобы просто вычеркнуть его из памяти*. Иное дело, что понимание ставит себе разные цели, но об этом достаточно было уже говорено выше. Какие бы, впрочем, цели оно себе ни ставило, оно невозможно и недостижимо, пока не произведена оценка понимаемого, т. е. именно та оценка, которая составляла когда-то важнейшую часть филологической науки, а в наше время выродилась в писание бойких рецензий в библиографических отдельчиках повременных изданий. Ученый не может не быть критиком, если хочет верно понять то, что ему надлежит понять. Для того, чтобы подвергнуть анализу поэму, первоначально критическим путем — т.е. путем оценки и приговора — ему надлежит еще убедиться, что перед ним действительно поэма, а не иной какой-либо вид литературной продукции, ибо в противном случае в изучаемый текст будет вкладываться то содержание, какое ему по самому заданию чуждо. Все отличие между научной, филологической критикой и тою разновидностью критики, которую условно можно называть литературной в широком смысле, опять-таки сведется лишь к той принципиально отличной направленности внимания, которое в конечном счете в одном случае упирается в философское знание, в другом — в философское в житейском смысле сознание.

По поводу упомянутых бойких рецензий и можно сказать те несколько заключительных слов, которые, по мысли моей, должны составить практические выводы из этого рассуждения. Поистине нестерпимо то исключительное высокомерие, с которым в наши дни те или иные представители науки пытаются своими методами предуказывать пути и судьбы русской поэзии, рассчитывая этим лишить критику «субъективности» и «сблизить» ее с наукой. Эта критика не знает ни печалей, ни радостей нашей поэтической жизни, — ведь она «объективна». Современный поэтический кризис ее не трогает — это ведь «объективный факт», это «закономерно» и — о ужас! —

«оправдывается историей». Отношение к живой действительности как к архивной истории — вот вторая характерная черта подобного рода критики. Непосредственное живое понимание поэзии, при котором поэзия становится тем личным делом и интересом, о котором я писал выше, нам стало чуждо. Мы всё стали решать историческими аналогиями. Одна из таких аналогий гласит, что время наше предпушкинское, ибо символизм, футуризм и пр. есть факт параллельный тому богатству поэтических традиций, воспитавшись на которых, Пушкин создал русский поэтический канон. Другая аналогия утверждает, что время наше — предфетовское, ибо Маяковский — современный Некрасов, рядом с которым должна где-то сбоку возродиться чистая лирика. Не станем уж говорить о том, насколько законно выдавать подобные порождения чистейшей абстракции за научные законы, — не это обидно. Обиднее всего, что во всех этих построениях сказывается все то же предельное неуважение к поэтическому искусству, которое иных наших критиков заставляет даже предписывать поэтам все по тем же «научным законам», с помощью каких рецептов и «приемов» следует «делать» сюжетную композицию и как «пересекать сюжетные планы», какую «установку» — на личность, экспрессивную, или на тему — сюжетную, следует избирать для «мотивировки» стихотворения, и т. п. Нет, нам непонятно уже, что о поэзии можно и должно «болеть душой», что поэтический талант можно оберегать и возвращать с тем заботливым попечением, которое так трогательно звучит в стихах восемнадцатилетнего Пушкина:

Наперснику богов не страшны бури злые,
Над ним их промысел высокий и святой,
Его баюкают камни молодые
И с перстом на устах хранят его покой.

Комментарии

О филологии

Введение в изучение филологических наук. Часть первая. Задачи филологии.

Впервые опубликовано Т. Г. Винокур и Р. М. Цейтлин в кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1978. М.: Наука, 1981, с. 5—58.

Подготовка настоящего издания затруднялась тем, что составителю и редактору по независящим от них обстоятельствам не была доступна авторская рукопись. В домашнем архиве Винокуров (ныне у С. В. Киселева) сохранился, однако, второй экземпляр машинописи, выполненной при подготовке первой публикации. Сверка этой машинописи с текстом первой публикации (проведена Ю. С. Рассказовым) позволила выявить и устранить ряд искажений, внесенных при редакционно-издательской подготовке первой публикации. В частности, было восстановлено авторское упоминание о предполагавшемся к включению в пособие приложении библиографического списка (см. примеч. * к с. 27). Были устранены также все замеченные в тексте первой публикации опечатки.

О времени написания пособия позволяют судить ежегодные рабочие планы, которые Г. О. Винокур с 1944 г. заносил в большую записную тетрадь в черном переплете (архив С. В. Киселева). В плане от 22 октября 1944 г. «Введение в филологию» значится лишь в разделе «Мои курсы» без всяких указаний на работу над письменным пособием. В плане от 21 июля 1945 г. «Введение в изучение филологических наук» открывает перечень планируемых книг и сборников, и после заглавия следуют пояснения: «5—6 листов. К новому учебному году закончить. МГУ». Вслед за этими пояснениями позднее было вставлено: «Написана 1 часть — 4 л.» В очередном плане от 27 февраля 1946 г. записано: «Абсолютно необходимо <...> Докончить Филологию». Однако это намерение не осуществилось: в последнем плане, записанном ровно за три месяца до кончины, в разделе «Готово в рукописи» по-прежнему числится лишь «часть» I. 4 листа». Часть II здесь не названа даже в разделе «Начатое в разной степени» — возможно, это было связано с изменением перспектив издания пособия.

Таким образом, «Введение в изучение филологических наук» в том виде, в котором оно публикуется в настоящем издании, было написано Г. О. Винокуром во втором полугодии 1945 г. (предположительно — в конце

лета—начале осени). Какую часть первоначального замысла ученого оно охватывает?

Т. Г. Винокур и Р. М. Цейтлин в своем предисловии к первой публикации указывали, что соответствующий учебный курс, читавшийся Г. О. Винокуром, состоял из четырех разделов: «1) что нужно понимать под филологией, 2) объем и разделы филологии; принципы выделения ее отделов; 3) методы филологии; 4) образцы филологического изучения текстов» (Там же, с. 3). По-видимому, первая часть «Введения...» охватывает содержание первых двух (а не трех, как считали Т. Г. Винокур и Р. М. Цейтлин) из названных разделов учебного курса. Ненаписанную вторую часть пособия, возможно, удастся в будущем реконструировать по рабочим материалам автора и запискам слушателей.

С. 25 * «Психология народов» — последнее сочинение немецкого философа, психолога и физиолога Вильгельма Вундта (1832—1920), издававшееся начиная с 1900 г. В личной библиотеке Г. О. Винокура сохранилось два тома этого труда, посвященные языку: *Wundt W. Völkerpsychologie. Bde. 1—2: Die Sprache. 14 Aufl. / Stuttgart; Leipzig: A. Kröner, 1921—1922.*

** «Не место» рассматривать эти причины во «Введении...» Г. О. Винокуру было не только по причине отдаленности от предмета пособия. Дело в том, что анализ этих причин уже был дан одним из учителей Винокура. См.: *Шпет Г. Г. Введение в этническую психологию. [Вып. 1:] Предмет и задачи этнической психологии // Шпет Г. Г. Сочинения. М.: Правда, 1989.* Но в 1945 г. печатная ссылка на труды тогда репрессированного Шпета, к тому же — в массовом учебном пособии, вряд ли была возможна.

С. 27 * Упоминаемая здесь Винокуром «библиография» в его бумагах пока не обнаружена. Поскольку в нее могли входить и работы, в тексте пособия не названные, мы в настоящем издании отказались от ее реконструкции в виде отдельного списка, а библиографические описания упомянутых работ даем в комментарии. В распутивании некоторых неполных или неточных ссылок составителю очень помогла М. В. Прокопович.

** Никаких «сочинений по истории классической филологии», принадлежащих автору с фамилией SAYS (или с другими орфографическими вариантами записи того же звучания) обнаружить не удалось. Налицо либо ошибка авторской памяти, либо искажение, допущенное при одной из перепечаток. Практически с полной достоверностью можно полагать, что Г. О. Винокур имел в виду трехтомное сочинение: *Sandys T. E. The history of classical scholarship. V. 1—3. Cambridge, 1903—1908.* Первый том этого сочинения, охватывавший период с VI в. до н. э. до конца Средних веков, уже в 1906 г. вышел вторым изданием.

*** Kroll W. Geschichte der klassischen Philologie / 2 Aufl. B.; Leipzig, 1919.

С. 34 * Винокур цитирует названную им в примеч. 4 речь Г. Узенера «Филология и историческая наука». Помимо указанного отдельного ее издания можно воспользоваться более доступными позднейшими переизданиями в кн.: Usener H. Vorträge und Aufsätze. Leipzig; B.; Teubner, 1914. Упоминаемый «Университетский учитель» Узенера — F. E. Schneidewin, «Книга о триумфе» — Goell H. De triumphi Romani origine... Schleiz, 1857.

С. 37 * «Введение к Гомеру» (лат.) «Вопросом о Гомере» или «гомеровским вопросом» принято называть комплекс проблем, имеющих отношение к личности Гомера и авторству «Илиады» и «Одиссеи». О постановке этих проблем Ф. А. Вольфом и их дальнейшем исследовании см.: Тронский И. М. Гомеровский вопрос // Краткая литературная энциклопедия. Т. 2. М.: Советская энциклопедия, 1964.

** Винокур цитирует в своем переводе книгу В. Кролля, указанную выше в прим. *** к с. 27.

*** Имеется русский перевод: Вольф Ф. А. Очерк науки древности / Пер. с нем. И. В. Помяловского. СПб., 1877.

С. 41 * При розыске переводов этого ученого и литературы о нем в библиотечных каталогах следует иметь в виду, что его фамилия передавалась в русской графике различными способами: Бёк, Бек, Бэк и др. Сам Винокур в подробном изложении идей Бёка о строении критического акта передавал его фамилию как Бэк. См.: Винокур Г. О. Критика поэтического текста // Винокур Г. О. О языке художественной литературы. М.: Высшая школа, 1991, с. 83—87.

С. 42 * См.: Boeck A. Enzyklopädie und Metodologie der philologischen Wissenschaften / Hrsgb. von E. Bratuschek. Leipzig; Teubner, 1877; ibidem / 2 aufl.; Besorgt. von R. Klusmann. Leipzig, 1886. (В домашней библиотеке Винокура сохранилось с его пометами первое издание).

На русский язык книга не переводилась, но существует ее подробное изложение (местами близкое к переводу): Аландский П. Энциклопедия и методология филологических наук // Университетские известия. Киев, 1878. № 8, 9, 11, 12 (имеется также отдельный оттиск — Киев, 1879). Аспекты концепции Бёка, затронутые Г. О. Винокуром, рассмотрены у Аландского в гл. II «Предмет и задачи филологии» и III «План энциклопедии. Теория герменевтики и критики» (по журнальной публикации — № 8, с. 264—276 и с. 277—311 критико-библиографического отдела).

С. 44 * Полезным добавлением к этому лаконичному изложению бёковских взглядов на роль понимания в филологии может послужить глава «Бек и другие: герменевтика и ее проблемы» в книге: Шпет Г. Г. Герменевтика и ее проблемы [Публ. 3-я] // Контекст. 1991. М.: Наука, 1991, с. 220—231.

С. 45 * Ср.: «Герменевтика как искусство понимать еще не существует в общем виде...» — Шлейермахер Ф. Д. Е. Герменевтика / Пер. Р. М. Габитовой // Общественная мысль: исследования и публикации. Вып. 4. М.: Наука, 1993, с. 224. С герменевтическими идеями Шлейермахера можно теперь ознакомиться также по работам: Габитова Р. М. Философия немецкого романтизма: Гельдерлин, Шлейермахер. М.: Наука, 1989, с. 99—113; Шпет Г. Г. Герменевтика и ее проблемы [Публ. 2-я] // Контекст. 1990. М.: Наука, 1990, с. 239—252.

С. 46 * Обзору достижений «матеральной филологии» была посвящена книга: Корольков Д. Н. Реальное направление классической филологии в Германии / Изд. 2. М., 1910.

С. 47 * Зелинский Ф. Ф. Филология // Энциклопедический словарь / Издатели Ф. Брокгауз, И. Ефрон. Т. XXXVa, Полутом 70. СПб., 1902, с. 811—816. В последнее десятилетие осуществлены стереотипные переиздания данного словаря в книжном виде и на микрофильм.

С. 54 * Различия в целях и методах чтения газеты, поэтических и научных произведений подробно охарактеризовано Винокуром в ранней работе «Культура чтения», включенной в настоящее издание. Там же он говорит и об универсальных компонентах любого акта чтения — критике, оценке, понимании.

С. 57 * То есть в предполагавшемся втором выпуске. См. предисловие к настоящему изданию.

С. 59 * О парадоксальном противоречии между этим утверждением и содержанием первого абзаца предшествующего параграфа «Введения...» см. примеч. на с. 156 к помещенной в настоящем издании статье С. И. Гиндина «От истории к тексту и от науки к искусству: Г. О. Винокур в поисках сущности филологии».

С. 70 * Хрестоматия, названная Г. О. Винокуром, построена как тематико-хронологическая подборка фрагментов из работ античных ученых. В настоящее время она может быть дополнена другими хрестоматиями, включающими полные тексты ряда риторико-стилистических сочинений: Античные риторики / Общая ред. А. А. Тахо-Годи. М.: Изд. Моск. ун-та, 1978; Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. М.: Наука, 1972.

С. 71 * См. новейшее переиздание: Крушевский Н. В. К вопросу о гуне: Исследование в области старо-славянского вокализма // Крушевский Н. В. Избранные работы по языкознанию. М.: Наследие, 1998, с. 71. Слова между прочим выделены Н. В. Крушевским.

С. 75 * Термин история языка в данном значении был введен и противопоставлен лингвистике как названию науки о «языке вообще» самим Винокуром, см.: Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. М.: Учпедгиз, 1959, с. 207—209.

С. 79 * Слова о «вхождении языковой формы внутрь» произведения — переформулировка известного термина «внутренняя форма». Понятие «внутренней формы», введенное некогда В. Гумбольдтом и перенесенное в русскую лингвистическую традицию А. А. Потебней, в 1920-е годы было возрождено и развито Г. Г. Шпетом. Винокур в 1925 г. писал, что «...вне изучения внутренней формы мы никогда не доберемся до действительной поэтической функции слова» (Переписка Р. О. Якобсона и Г. О. Винокура / Подготовка текста и комментарий С. И. Гиндина и Е. А. Ивановой // Новое литературное обозрение, 1996, № 21, с. 93). Уже после написания «Введения», в 1946 г. он вновь заявит. «Язык как произведение искусства прежде всего характеризуется тем, что он представляет собой внутреннюю форму, то есть нечто само в себе, внутри себя обладающее некоторой содержательной ценностью» (Винокур Г. О. Об изучении языка литературных произведений // Винокур Г. О. О языке художественной литературы. М.: Высшая школа, 1991, с. 52. Разрядка автора).

Культура чтения

Очерк впервые опубликован в 1925 г. в № 4 (апрель) журнала «Журналист» и как «приложение» в книге самого Винокура «Культура языка» (и журнал, и книга вышли в одном и том же издательстве «Работник просвещения»). При жизни автора в 1929 г. появилась третья прижизненная публикация очерка — в качестве приложения ко второму исправленному и дополненному изданию книги «Культура языка» (М.: Федерация; на переплете год указан иначе: 1930). Здесь печатается по изданию 1929 г. Подготовка текста С. И. Гиндина и Ю. С. Рассказова.

С. 82 * См. также недавнее переиздание: Винокур Г. О. Биография и культура. Русское сценическое произношение. М.: Рус. словари, 1997, с. 81—84.

С. 83 * Ср. также: Фосслер К. Позитивизм и идеализм в языкознании: (Извлечения) / Пер. В. А. Звегинцева // Звегинцев В. А. История языкознания XIX—XX вв. в очерках и извлечениях. Ч. 1. М.: Просвещение, 1964, с. 332—333.

** Гюго В. Эрнани. Действие I. Явление III. (франц.)

С. 84 * Здесь Г. О. Винокур не вполне точен: Брюсов в предшествующем отрывке письма хвалит не столько «декламацию Бальмонта», сколько вообще чтение самих поэтов, противопоставляя его артистическому: «Собственно говоря, читать стихи должны только поэты и никогда чтение нашего Южина или нашей Ермоловой не предпочту я чтению Бальмонта, хотя этот и пришептывает, и немного распекает» (Письма В. Я. Брюсова к П. П. Перцову. М.: Гос. Акад. худож. наук, 1927, с. 15).

** В третьем выпуске временника «Поэтика» была опубликована статья С. И. Бернштейна «Эстетические предпосылки теории декламации». Более специально опровержению утверждений о том, что поэтическое произведение полноценное бытие получает лишь в произнесении, посвящена другая работа того же автора: *Бернштейн С. И. Стих и декламация // Русская речь. Новая серия. 1927, [Вып.] 1 (особенно с. 7—26).*

С. 86 * Из «Предисловия» к первой книге критических статей («Книга отражений»), датированного сентябрем 1905 г., см.: *Анненский И. Ф. Книги отражений. М.: Наука, 1979, с. [5].* Ссылка именно на это предисловие не случайно обусловлена не только емкостью найденного Анненским образа. Анненский ставил в «Предисловии» в применении к поэзии ту же проблему активности понимания, которая занимала автора «Культуры чтения». Фраза, непосредственно предшествующая процитированной Винокуром, гласит: «Самое чтение поэта есть уже творчество».

С. 89 * Книга Б. Л. Модзалевского «Библиотека А. с. Пушкина: (Библиографическое описание)» была переиздана репринтным способом в московском издательстве «Книга». Упоминаемый Г. О. Винокуром «снимок» помещен между с. 8 и 9. На нем воспроизведена с. 272 из «Записок о жизни и службе А. И. Бибикова» (СПб., 1872). Пометы и вычеркивания, сделанные Пушкиным на воспроизведенной странице, систематизированы Б. Л. Модзалевским на с. 11 его труда.

С. 90 * Работа Г. О. Винокура «Язык газеты», помещенная в том же издании книги «Культура языка», что и воспроизведенная здесь публикация «Культуры чтения». В настоящее время готовится переиздание этой книги «Культуры языка» в серии трудов Г. О. Винокура, начатой данным томом.

** Этот малоупотребительный сегодня термин еще в тридцатые годы был преобладающим при обозначении выделенных из текста примечаний, как правило — подстрочных.

С. 91 * В этом упомянутом коллективном сборнике Гершензон опубликовал близко соприкасающиеся с тематикой комментируемой статьи Винокура очерк «Чтение Пушкина». Уже после смерти М. О. Гершензона очерк был включен в его кн. «Статьи о Пушкине» (М., 1926), недавно полностью перенезданную (без ссылки на источник) в составе сборника: *Гершензон М. О. Мудрость Пушкина. Томск: Водолей, 1997.* Интересующий Винокура термин медленное чтение в этом последнем перенездании вводится на с. 185, о разных типах чтения и о том, что «особенно медленно надо читать поэтов», см. с. 181.

С. 92 * Во «Вступлении» к первому тому своей главной книги известный критик Ю. И. Айхенвальд писал: «...В сущности, понятия критик и читатель внутренние синонимичны. Критик — первый, лучший из читателей...» — *Айхенвальд Ю. И. Силуэты русских писателей. М.: Республика, 1994, с. 25.* В дальнейшем он даже сливает оба названных понятия:

«Писателя создает читатель. Критик осуществляет потенцию автора. <...> Нет писателя без читателя. <...> Так как писателя нет, откуда к нему не подошел, его не выявил в себе **читатель-критик...**» (Там же, с. 26—27. Подчеркнуто мной — С. Г.).

Поэзия и наука

Впервые опубликовано в кн.: Чет и нечет. Альманах поэзии и критики. М., 1925. С содержательным научным комментарием М. И. Шапира переиздана в кн.: Винокур Г. О. Филологические исследования: Лингвистика и поэтика. М.: Наука, 1990. Печатается по тексту первой публикации. Сverka осуществлена Ю. С. Рассказовым.

В отличие от «Культуры чтения», «Поэзия и наука» в целом и непосредственно по авторскому замыслу не была работой по филологии. Автор стремился решить в ней вопрос о принципиальном различии научного исследования поэзии и критического отклика на поэтическое произведение. Однако свойственный Винокуру филологический подход в полной мере проявился и в «Поэзии и науке». Если в «Культуре чтения» он показал принципиальное отличие чтения поэтического текста от чтения газетной информации и научного труда, в «Поэзии и науке» он идет дальше, демонстрируя, что и поэтическое произведение будет читаться по-разному в зависимости от цели чтения: непосредственно-жизненной или научно-исследовательской.

Кроме того, в «Поэзии и науке» проведен существенный анализ взаимоотношения объективных и субъективных моментов в процессе понимания текста и выдвинуты этические требования к результату понимания.

Правда, по-видимому, именно в этом анализе понимания статья Винокура представлялась современнику особенно зависимой от идей его учителя Г. Г. Шпета, см. отзыв А. А. Реформатского, приводимый в работе: Реформатская М. А. «Как в ненастные дни собирались они часто»: Г. О. Винокур в архиве Н. В. и А. А. Реформатских // Литературное обозрение. 1997, № 3, с. 61.

Рассмотрение главной проблемы — научности литературной критики — в статье «Поэзия и наука» содержит многочисленные полемические намеки, прежде всего — на выступления представителей ОПОЯЗа. Убедительные предположения о конкретных адресах полемики выдвинуты в примечаниях к тексту «Поэзии и науки», данных М. И. Шапиром в издании: Винокур Г. О. Филологические исследования: Лингвистика и поэтика. М.: Наука, 1990, — к которым мы и отсылаем читателя.

С. 102 * Это ключевое для Винокура высказывание имело, по-видимому, не только обобщенного, но и конкретного адресата: «субъективность» и «импрессионизм» как обязательные атрибуты критики

отстаивал в своих работах Ю. И. Айхенвальд, главное произведение которого «Силуэты русских писателей» было переиздано в Берлине в 1923 г. Ср. следующие высказывания из «Вступления» к этой книге «...В этой субъективности — не только право его («критика-читателя» — С. Г.), но и обязанность <...> Каждый имеет право на самого себя»; «...необходимость раз навсегда отвергнуть наукообразность и объективность истории литературы. <...> Где есть и где неизбежны принципиальный импрессионизм, там не может быть истинной научности» (*Айхенвальд Ю. И. Силуэты русских писателей. М.: Республика, 1994, с. 26, 29).*

Оглавление

О ЧЕМ И ДЛЯ КОГО ЭТА КНИГА (С. И. Гиндин)	5
О ФИЛОЛОГИИ	7
ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК..	8
(Выпуск первый. Задачи филологии)	
От ПУБЛИКАТОРОВ.....	8
§ 1. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	11
§ 2. ФИЛОЛОГИЯ КАК ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА	13
§ 3. ФИЛОЛОГИЯ КАК ОБРАБОТКА ТЕКСТА	15
§ 4. ФИЛОЛОГИЯ КАК ИСТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ	
КУЛЬТУРЫ	20
§ 5. ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ ФИЛОЛОГИИ.....	26
§ 6. КРИЗИС ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ	32
§ 7. ФРИДРИХ-АВГУСТ ВОЛЬФ.....	36
§ 8. АВГУСТ БЁК.....	41
§ 9. Ф. Ф. ЗЕЛИНСКИЙ	47
§ 10. ОБЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЛОЛОГИИ.....	51
§ 11. ФИЛОЛОГИЯ И ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ	57
§ 12. ФИЛОЛОГИЯ КАК «МОМЕНТ» В НАУЧНОЙ РАБОТЕ.....	66
§ 13. ФИЛОЛОГИЯ И ЯЗЫКОВЕДЕНИЕ.....	70
§ 14. ЦИКЛИЗАЦИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК.....	75
КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ	81
ПОЭЗИЯ И НАУКА	94
Комментарии (С. И. Гиндин).....	169